Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

2019 ТОМ 11 № 2
DOI 10.22363/2312-8127-2019-11-2
http://journals.rudn.ru/world-history
Научный журнал
Издается с 2009 г.

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61173 от 30.03.2015 г.
Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Главный редактор серии
С.А. Воронин, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, директор Центра Исторической Экспертизы и Государственного Прогнозирования

Заместитель главного редактора
И.Д. Стефанидис, профессор Университета имени Аристотеля (Греция)

Ответственный секретарь серии
Е.А. Базанова, кандидат исторических наук, ассистент кафедры всеобщей истории РУДН

Члены редколлегии

Абу аль-Хассан Мусса Бакри, доктор исторических наук, профессор Каирского университета (Египет)

Гвоздева И.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ

Дуткевич П., доктор философских наук, директор Центра государственного управления Университета Карлтона (Канада), действительный член Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук

Ларин Е.А., доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром Латиноамериканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук

Нарангоа Ли, профессор Австралийского Национального университета (Австралия)

Пономаренко Л.В., доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений, заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

К Варику, профессор Университета имени Джавахарлала Неру (Индия)

Смоленский Н.И., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новой, новейшей истории и методологии МГОУ

Хазанов А.М., доктор исторических наук, профессор Института всеобщей истории Российской академии наук

Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

ISSN 2312-8127 (Print); ISSN 2312-833X (Online)
4 выпуска в год
http:// http://journals.rudn.ru/world-history
Языки: русский, английский, французский, немецкий, испанский.
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, East View, Cyberleninka, Dimensions, EBSCOhost.

Цели и тематика

Журнал Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история (Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история) – периодическое международное рецензируемое научное издание в области исторических исследований. Целью журнала является распространение и апробация современных методов и новейших достижений исторической науки.

Журнал предназначен для публикаций результатов самостоятельных оригинальных научных исследований ученых в виде статей, обзорных материалов, научных сообщений, библиографических обзоров по определенным темам и научным направлениям.

Тематика публикаций в журнале охватывает все области изучения исторического процесса с древности до современности. В рамках журнала ключевое значение имеет проблематика, связанная с социально-политическим и культурным развитием мировых цивилизаций Востока и Запада с древности до сегодняшнего времени; также значительное внимание уделяется публикации исследований по проблемам стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Перечень отраслей науки и групп специальностей научных работников в соответствии с номенклатурой ВАК РФ: Отрасль науки: 07.00.00 Исторические науки и археология. Специальности: 07.00.03 Всеобщая история (соответствующего периода), 07.00.07 Этнография, этнология и антропология, 07.00.09 Историография, источниковедение и методы научного исследования, 07.00.15 История международных отношений и внешней политики.

Основные рубрики журнала: из истории исторической науки, идеи и политика в истории, Восток – Запад: диалог цивилизаций, античный мир, политическая история Востока и Запада, из истории ислама, из истории Китая, археологические исследования и др.

Редакционная коллегия журнала приглашает к сотрудничеству специалистов, работающих в русле вышеуказанных направлений, по подготовке специальных тематических выпусков.

Правила оформления статей, архив и дополнительная информация размещены на сайте: http:// http://journals.rudn.ru/world-history.

Электронный адрес: histj@rudn.university.

Литературный редактор *К.В. Зенкин*
Компьютерная верстка *Ю.А. Заикина*
Адрес редакции:
Российский университет дружбы народов
Российская Федерация, 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3
Тел.: +7 (495) 955-07-16; e-mail: publishing@rudn.ru
Адрес редакционной коллегии журнала «Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история»:
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2
Тел.: +7 (495) 434-12-12; e-mail: histj@rudn.ru

Подписано в печать 22.04.2019. Выход в свет 29.04.2019. Формат 70×100/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».
Усл. печ. л. 6,50. Тираж 500 экз. Заказ № 637. Цена свободная
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Отпечатано в типографии ИПК РУДН
Российская Федерация, 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3
Тел.: +7 (495) 952-04-41; publishing@rudn.ru
© Российский университет дружбы народов, 2019

RUDN JOURNAL OF WORLD HISTORY

2019 VOLUME 11 NUMBER 2
DOI 10.22363/2312-8127-2019-11-2
http://journals.rudn.ru/world-history
Scientific journal
Founded in 2009

Editor in Chief
S. Voronin, Doctor of Science (History), Ph.D. in History, Head of the Chair of the World History of the Faculty of Humanities and Social Sciences at RUDN University, Head of Historical Examination and State Prognostication Centre

Deputy Editor-in-Chief
I.D. Stefanidis, Professor of the Aristotle University (Greece)

Executive Secretary
E. Bazanova, Candidate of Historical Sciences, Assistant of the Department of World History of RUDN University

Members of Editorial Board

Abu al Hassan Musa Bakri, Ph.D. in History, Professor of the Cairo University (Cairo, Egypt)

Gvozdeva I., Ph.D. in History, Associate Professor of the Chair of the Ancient History of History Faculty of Moscow State University

Dutkiewicz P., Ph.D. in Philosophy, Director of the Center of Public Administration Carleton University (Canada), member of Center for Civilization and Regional Studies, Russian Academy of Sciences, Russian Academy of Sciences

Larin E., Doctor of Science (History), Ph.D. in History, Professor, Head of the Center for Latin American Studies of the Institute of General History of Russian Academy of Sciences

Narangoa Lee, Professor in Australian National University (Australia)

Ponomarenko L., Doctor of Science (History), Ph.D. in History, Professor of the Theory and History of International Relations Chair, Vice-Dean at International Affairs of the Faculty of Humanities and Social Sciences at RUDN University

Variku K, Professor in the University Jawaharlal Nehru (India)

Smolenskiy N., Doctor of Science (History), Ph.D. in History, Professor, Head of the Chair of modern and contemporary history and methodology of the Moscow State Regional University

Hazanov A., Doctor of Science (History), Ph.D. in History, Professor of the Institute of Oriental Studies of Russian Academy of Sciences

RUDN JOURNAL OF WORLD HISTORY
Published by Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, the Russian Federation

ISSN 2312-8127 (Print); ISSN 2312-833X (Online)
4 issues per year
http://journals.rudn.ru/world-history
Languages: Russian, English, French, German, Spanish.
Materials of the Journal are placed on the platform of Russian Science Citation Index (eLIBRARY.RU), Electronic Library Cyberleninka, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, East View, Cyberleninka, Dimensions, EBSCOhost.

Aims and Scope

RUDN Journal of World History is a periodic peer-reviewed international scientific journal publishing articles and book reviews on world history. The goal of the journal is the dissemination and approbation of modern methods and the latest achievements of historical science.

RUDN Journal of World History is committed to the publication of original research covering a broad range of historical subjects and approaches from antiquity to modern times. The journal has a special focus on socio-political and cultural development of Western and Eastern civilizations from ancient times to modernity. It also focuses on actual problems of African, Asian and Latin American studies.

The list of branches of science and groups of specialties of scientists in accordance with the nomenclature of the Higher Attestation Commission of Russia: 07.00.00 – Historical Science and Archeology. Specialties: 07.00.03 World History (Relevant Period), 07.00.07 Ethnography, Ethnology, Anthropology, 07.00.09 Historiography, Source Study, Methods of Historical Research, 07.00.15 History of international Relations and Foreign Policy.

General journal sections: History of historical science, Ideas and policy in history, East and West: the dialogue of civilizations, The Ancient world, Political history of East and West, Islamic studies, Chinese studies, Archeological studies, etc.

In addition to research articles, the journal also welcomes book reviews, conference reports and research project announcements. The editors are open to thematic issue initiatives with guest editors.

Further information regarding notes for contributors, subscription, and back volumes is available at http://journals.rudn.ru/world-history.

E-mail: histj@rudn.university.

Review Editor *K.V. Zenkin*
Layout Designer *Iu.A. Zaikina*
Address of the editorial board:
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
3 Ordzhonikidze St., Moscow, 115419, Russian Federation
Ph.: +7 (495) 955-07-16; e-mail: publishing@rudn.ru
Address of the editorial board of RUDN Journal of World History:
10 Miklukho-Makhlaya St., bldg. 2, Moscow, 117198, Russian Federation
Ph.: +7 (495) 434-12-12; e-mail: histj@rudn.ru

Printing run 500 copies. Open price
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
"Peoples' Friendship University of Russia" (RUDN University)
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russian Federation
Printed at RUDN Publishing House:
3 Ordzhonikidze St., Moscow, 115419, Russian Federation
Ph.: +7 (495) 952-04-41; e-mail: publishing@rudn.ru
© Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ИДЕИ И ПОЛИТИКА В ИСТОРИИ

Стефанидис И.Д. Противоядие от гражданской войны? Малые государства Европы и политическая легитимность во время Второй мировой войны (*на англ. яз.*) 117

Антошин А.В., Стровский Д.Л. Эмиграция евреев из Советского Союза в 1960–1970-е гг. на страницах американской прессы 136

Воронин С.А., Бакина Е.А. Клановая иерархия как основа «тюльпановой революции» в Кыргызстане 161

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Аликберов А.К. Принцип транссубъективности в исторической методологии Лумана 172

ИЗ ИСТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Шустова А.М. Ю.Н. Рерих и его анализ истории развития индологии в России 179

CONTENTS

IDEAS AND POLITICS IN HISTORY

Stefanidis I.D. Antidote to Civil War? European 'small states' and political legitimacy during World War II 117

Antoshin A., Strovsky D. Emigration of Jews from the Soviet Union in the 1960–1970s through the eyes of the American press 136

Voronin S.A., Bakina E.A. Clan hierarchy as the basis of the "tulip revolution" in Kyrgyzstan 161

THEORY AND METHODOLOLOGY IN HISTORY

Alikberov A. Principle of trans-subjectivity in Luhmann's historical methodology 172

HISTORY OF HISTORICAL SCIENCE

Shustova A.M. G.N. Roerich and his analysis of the history of Indology in Russia 179

RUDN Journal of World History
Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
2019 Vol. 11 No. 2 117–135
http://journals.rudn.ru/world-history

DOI 10.22363/2312-8127-2019-11-2-117-135 Research article

Antidote to Civil War? European 'small states' and political legitimacy during World War II[1]

Ioannis D. Stefanidis

School of Law, Aristotle University of Thessaloniki
G. Papandreou (Antheon) 23, 54645, Thessaloniki, Greece

The experience of European small states involved in World War II varied widely. Not all of them entered the war as victims of aggression, and even those that did so did not necessarily share the same dire consequences of warfare and/or foreign occupation; they also exited the war in, sometimes dramatically different ways: a number of small states entered the post-war period relatively peacefully, other were plunged into civil war, while a third category experienced a measure of unrest short of civil strife. It is argued in this paper that, among the factors influencing the outcome of a European small state's involvement in World War II, the political legitimacy of its government should not be underestimated. The impact of this factor was particularly felt during the sensitive transition period from war and/or occupation into peacetime. Reinterpreting existing material, it is further argued that, during the war, democratic legitimacy increasingly appeared to guarantee a safer ground for both withstanding wartime travails and achieving a relatively smooth restoration of free national institutions, without the risk of civil war.

Keywords: World War II, Europe, small states, legitimacy, legitimation, transition

I. 'Small states' in World War II

Even before the Second World War broke out, Europe was proving a very dangerous place for states smaller than those conventionally recognized as 'great powers'. Nazi Germany and fascist Italy were following a revisionist foreign policy bent on destroying the Paris Peace Settlement of 1919 and expanding at the expense of lesser neighboring powers. The German annexation of Austria and the dismemberment of Czechoslovakia, the Italian invasion of Albania and the involvement of both totalitarian states in the Spanish Civil War, in addition to their brutal domestic record of repression, manifested their disrespect for the rule of law at home and abroad. Their disdain for democratic government, in particular, was shared by the

© Stefanidis I.D., 2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

third totalitarian great power, which was lurking in the background. Under Stalin, the world's only socialist state was preparing itself to take advantage of the 'inevitable' clash between the capitalist powers in order to promote its own concept of security through 'revolutionary' expansion beyond the borders of the Soviet Union.

War came when the two remaining democratic great powers, Britain and France, refused to acquiesce to yet another manifestation of Nazi expansionism. Their reaction did little to help Poland which Germany quickly overpowered in partnership with the Soviet Union. During the following twenty months, a string of smaller European states plus France were invaded and subjugated or were pressed into more or less complete alignment with Berlin, Rome or Moscow. This element of external coercion was the apparent common denominator of the condition in which 'small states' found themselves during World War II. Otherwise, their experience of war and occupation or collaboration varied widely as did their transition into the post-war era. This paper aims to test the assumption that a democratic tradition and culture provided a more enduring basis for political legitimacy in comparison with the authoritarian alternatives prevalent in interwar Europe and considerably reduced the risk of civil strife in the wake of liberation or capitulation. There follows a brief examination of a number of individual cases, which, in addition to affirming variety, focuses on legitimacy as an important variable affecting the wartime course and post-war transition of different European states. (1)

Following the defeat and dismemberment of Poland, the next country to be sucked into the vortex of war was Finland. The secret protocols appended to the Nazi-Soviet Pact consigned it to the Soviet sphere of influence. Moscow initially tried to negotiate its territorial and other claims, which would have rendered Finland a vassal state. When, in late November 1939, the latter's government rejected certain of these demands, the Red Army attacked. During the ensuing 'Winter War', the Finns put up stiff resistance and repelled the invader. With minimal help from the Western powers and foreign, mainly Swedish, volunteers, Finnish defence exploited the arctic conditions of the terrain in order to offset the material superiority of the aggressor. However, by March 1940, the Finnish leadership was forced to realise that, come spring, the sheer numbers of the Red Army would prove decisive. Helsinki capitulated and conceded territory and bases to Moscow. On 26 June 1941, Finland re-entered the war as 'co-belligerent' but not allied to the Axis powers invading the Soviet Union. The aim was to retake lost territory and, subsequently, to expand into Eastern Karelia. The Finns were able to resist German demands for more active participation in operations after they had achieved their objectives. The so-called 'Continuation War' lapsed into stalemate before, in September 1944, the Finns finally sued for peace while still in control of much of their pre-war territory.

Finland was the only functional democracy to fight alongside Nazi Germany before being forced to switch sides, as a result of its armistice with the Soviet Union. Throughout the war, multi-party governments, excluding the extreme nationalists and the communists, managed to retain a high degree of domestic consensus over their slaloming between the Axis and its opponents. Fears that the bitter precedent of the 1918 civil conflict might be repeated did not materialize. The high command of the

armed forces also served as a factor of cohesion. The post was entrusted to field-marshal Carl Gustaf Emil Mannerheim, who had defeated the Finnish 'Reds' in the wake of the Bolshevik Revolution. Mannerheim had refused to head a dictatorship when the opportunity arose in the turbulent 1930s, advised a compromise with the Soviets before the Winter War and was instrumental in limiting the Finns' part in Hitler's war and in the timely decisions to stop the fighting both in 1940 and 1944. Despite its defeats, Finland avoided enemy occupation in all but a fraction of its national territory and, given its four long years of belligerence, its war-related fatalities reached a comparably low 2,5 per cent of the population. The painful experience of the Red Army from its fighting against the Finns and the all but impregnable domestic front in the country must have convinced Stalin of the high cost involved in the total subjugation of Finland, which would be able to retain its democratic institutions and free market economy, at the price of neutrality benevolent to its imperious neighbour.

As Hitler turned his attention to Finland's northernmost neighbour, Norway, in April 1940, German troops entered the Danish soil unannounced. A democratically elected coalition government, in unison with King Christian X, decided that the small, flat country was unsuited for defence against an infinitely stronger adversary. Thus, Denmark turned into virtual German protectorate, though the government strove to defend its domestic jurisdiction to the extent possible. In fact, Denmark had the privilege of being the only country in Nazi-dominated Europe to hold free and fair elections, in March 1943, with disastrous results for the local National-Socialist party. This peculiar status was terminated in August of that year, when Copenhagen refused to introduce the repressive measures demanded by the Germans, who consequently imposed their own martial law. The government resigned but the civil service continued to function effectively, while the king remained in the country, turning the throne into the focal point of national unity. With the exception of the great strike of July 1944 and a number of skirmishes on the eve of liberation, Danish resistance was essentially passive. As a result, at the end of the war the country counted less than 0.2 per cent of its population as war dead and limited material damage. In their effort to protect the population as a whole, the Danish authorities succeeded in saving the Jews of Denmark. With the citizenry's assistance, more than 95 per cent of these people made their way to safety in neutral Sweden.

As German war planning had provided since the early 20th century, the decisive attack against France was launched through the territory of Belgium and neighbouring Luxemburg. The Belgian policy of neutrality announced as early as 1936 failed to deter the aggressor. At the end of May 1940, after eighteen days of fighting, King Leopold III, in his capacity as commander-in-chief, overruled the democratically elected government in Brussels and surrendered with his army to the Germans. Appearing to share the fate of his captive people, Leopold at first enjoyed high levels of popularity, especially as he attempted to mitigate the effects of defeat and extract from Hitler the release of the 200,000 Belgian prisoners of war. Intending to exploit the country's ethnic dichotomy to its own ends, Berlin chose to release the Flemish and keep the Walloon rank and file interned until the end of the war. The harsh realities of occupation and the turn of the tide of war against the Axis

eventually tipped the scales in favour of the London-based Belgian government-in-exile. As a symbol of continuity with pre-war legality, this government helped to keep the spirit of resistance alive both at home and abroad, unlike the authoritarian-inclined Leopold, who had practically resigned himself to the Nazi New Order. The king's attitude would trigger a regime crisis at the end of the war, which was aggravated by the initial refusal of the leftist resistance to give up its arms. At a time when Belgium was still a theatre of war, the formerly exiled government was able to maintain its cohesion minus the communists, reaffirm the confidence of the pre-war parliament and, most crucially, secure the support of the omnipresent Allied factor. If civil conflict on account of disarmament was thus averted, the regime issue continued to plague the country until 1950, when Leopold was finally persuaded to resign in favour of his successor. It was the last chapter of the war legacy which involved much destruction and human losses in excess of 1 per cent of Belgium's population, including one third of its 75,000-strong Jewish community.

Despite its revisionist outlook, Bulgaria also opted for neutrality at the early stage of the war. Having suffered bitter defeats in the Second Balkan and the First World War, by 1939 it was the Balkan country most exposed to German economic penetration, cultural influence and diplomatic leverage, though one should not overlook a considerable tradition of russophilia, especially among the peasantry and the small working class. However, even after the country joined the Tripartite Pact on 1 March 1941, King Boris and his loyal government, supported by a hand-picked chamber of deputies, sought to avoid involving their militarily weak state in Axis operations. The Bulgarian contribution to Hitler's war was limited to occupation duties in parts of Yugoslavia and Greece, which lay conveniently away from the main theatres of war and which Sofia aspired to annex. Moreover, Bulgaria never declared war on the Soviet Union. This, however, did not prevent Moscow from declaring war itself at exactly the time when the Sofia government, as part of its effort to come to terms with Britain and the United States, turned against its erstwhile ally, Germany. The unopposed invasion of the Red Army, on 8 September 1944, immediately placed the country under the control of the local communists who, two years later, would establish a single-party 'people's democracy'. Meanwhile, the Bulgarian army was obliged to withdraw from the occupied territories and fight against the retreating Germans inside Yugoslav territory. However, Bulgaria exited the war with territorial gains, as it was permitted to keep Southern Dobrudja, a region which Romania had been forced to cede under German pressure, in 1940. Its 'calculated' involvement in the war and its distance from the main theatres of operations saved Bulgaria from the gruesome fate of its neighbours – except Turkey. The country neither experienced the lethal famine, large-scale destruction and civil conflict that befell Greece and Yugoslavia, nor suffered the massive human casualties of these two countries and Axis satellite Romania. It is estimated that Bulgaria's war-related fatalities amounted to roughly 0.33 per cent of its population. It also protected its Jewish population of Bulgarian nationality, at the expense, however, of the Jews in occupied Greek and Yugoslav territories, who were turned over to the Nazi 'final solution'.

Whereas all preceding cases share a strong element of continuity of national institutions and, at least in Finland, Denmark and Belgium, the presence of governments with democratic legitimacy, Greece entered the war under an unpopular dictatorship. The imposition of the '4th of August' regime by King George II and Ioannis Metaxas, in 1936, had only superficially ended the intermittent crisis of legitimacy which had plagued the country since the eruption of the so-called National Schism in 1915. Despite its fascist inclinations, that regime remained firmly orientated towards Great Britain. Metaxas' decision to reject the Italian ultimatum in the early hours of 28 October 1940 corresponded to the national mood and probably turned him into the most popular Greek until his death, in January 1941. However, the spirit of unity engendered by fascist aggression did not survive the ordeal of defeat and occupation. Following the German conquest, in May 1941, three indigenous contenders would try to fill the apparent vacuum of domestic authority: the king and his government-in-exile, the collaborationist regime in Athens and the communist-controlled National Liberation Front (EAM), which had grown into the strongest resistance organization. Each disputed the legitimacy of the other two. Their rivalry would plunge the country into bitter civil strife well before the withdrawal of the German troops from mainland Greece, in October 1944. The formation of a government of national unity, which the communists eventually joined as junior partners on the eve of liberation, failed to prevent another round of internecine fighting over the issues of disarmament of the resistance and the composition of the future army, with the questions of the monarchy and the treatment of army officers with a record of collaboration looming in the background. A communist take-over was forestalled owing to the massive intervention of British troops, but their presence and the incipient American involvement did not deter yet another phase of full-blown civil war, in a country whose human losses during the war and occupation were variously estimated between 7 and 11 percent of its population, including 87 percent of its 77,000 strong Jewish community. One is entitled to wonder whether the presence of a representative, lawfully constituted government from the eve of occupation through to liberation could have facilitated an undisputed restoration of legitimate authority and prevented the descent into civil war.

Table 1

Country	**Side**	**Democratic legitimacy**	**Fighting war(s)**	**Foreign occupation**	**War-related fatalities (% of population)** [2]	**Civil Unrest**	**Civil War**	**Holocaust**
Finland	Axis/–	X	X / X	–	2.3–2.57	–	–	–
Denmark	–/Allied	X	–	X	0.16	–	–	–
Belgium	Allied	X	X	X	1.05	X	–	X
Greece	Allied	–	X	X	7.02-11.17	X	X	X
Bulgaria	Axis/–	?	X	X	0.33	X	–	–

II. What kind of legitimacy?

Ever since Max Weber offered his definition and typology of legitimacy a century ago [2. P. 75], the concept remains much debated among political scientists (2). Weber identified three 'inner justifications' or principles of legitimate rule, all related to different value systems, which, in the eyes of its subjects/citizens, entitle an authority to exercise power: legality, tradition and charisma [2. P. 294–297]. Weber did not consider democracy integral to any of these types of legitimacy. In his view, a 'legally' constituted authority could equally be appointed or elected. Moreover, he apparently considered democratic politics compatible with both 'charismatic' and 'legal' forms of legitimacy. As Jürgen Habermas has observed, in Weber's analysis the 'pluralism of competing' sources of legitimacy is 'rationally irresolvable'. 'Our highest values', he pointed out, are 'a matter of faith'. [4. P. 100] However, Weber did not miss the advantages of democracy, especially the consent-generating potential of its decision-making process and the safeguards of accountability built in the parliamentary system of government, which positively distinguished it from the authoritarian versions of 'legal' rule, e.g. the 'bureaucratic absolutism' of his native imperial Germany. [3. P. 454–455] A further advantage lies in the capacity of liberal democracy to prevent crises of succession through free and fair elections, an option which is not available to other political systems. At the same time, Weber was aware of the 'potentially dictatorial element of mass appeal' present in democratic politics, [3. P. 455–457] an element which would become evident in the rise of totalitarian movements *via* formally democratic means in Italy and Germany, after Weber's lifetime.

An epistemological clarification of the concept of legitimacy in historical context would require a project of a different order. This paper focuses on its importance as a factor of political development in wartime Europe. Therefore, it entails the study of different cases on the basis of available secondary material which, it is proposed, is open to reinterpretation. A point of departure is offered by two important collective works, edited by historians Martin Conway and Peter Romijn. These deal with the issue of legitimacy in various European states on the eve of, during and in the immediate aftermath of World War II. (3)

In addition to being a period of escalating uncertainty and insecurity in relations among states, the 1930s witnessed painful setbacks for liberal democracy across much of Europe. As has been noted, the three totalitarian great powers aspired to dominate the international scene in both territorial and ideological terms. Yet the radical forces of fascism, national socialism and communism, unleashed by the unprecedented catastrophe of the Great War and fuelled by the great economic world crisis and depression, were not the only enemies of democracy. Anti-democratic ideologies with roots to Europe's dynastic and religious *Ancien Régime* were equally prepared to challenge the legitimacy of elected governments in the name of pre-Enlightenment value systems; and if the totalitarian movements owed much to the charismatic leadership provided by figures such as Lenin, Stalin, Mussolini and Hitler, the authoritarian regimes which imposed themselves upon several European

countries, other than Russia, Italy and Germany, exalted 'tradition'. In the process, these rather conservative alternatives to democracy appropriated certain vestiges and techniques of their radical counterparts, especially the use of propaganda which was proving effective as a means of 'organizing' consent (4). All of them used the, real or perceived, threat which communism represented for the 'bourgeois' social order and capitalist economy as a pretext for terminating democratic politics which the Soviet experiment also rejected. Of course, they had benefited from the apparent failure of their parliamentary predecessors to achieve the degree of consensus required for meeting the multiple challenges generated by conflicting nationalisms, economic woes and the rise of radical alternatives to themselves. This, however, should not conceal the fact that a number of democracies, especially in northwestern Europe, survived the test with certain 'adjustments' in favour of executive power. (5) There, the existence of a strongly democratic political culture meant that a non-democratic model of government would only be imposed as a result of foreign occupation. (6)

When war came, the nature of a country's domestic regime did not predicate its **foreign orientation**. Most European governments, democratic or authoritarian, tried to stick to neutrality for as long as possible. By spring 1941, the remaining democracies had been engulfed in Hitler's war with only three exceptions. (7) This was also the fate of authoritarian regimes, again with three exceptions, (8) one of which, Spain, was still reeling from the ravages of its devastating civil war. Eventually, two in every three continental states succumbed to the aggression of Europe's three totalitarian great powers. Only one (Finland) managed to maintain its independence throughout the war, while the rest experienced mostly complete or, in fewer cases, partial enemy occupation. This grim reality triggered a variety of national responses, including governments-in-exile, collaborationist regimes, *de facto* civilian administrations, resistance movements and secessionist entities. Again, only one country (Denmark) managed to preserve its liberal democratic form of government for most of the war, albeit under German tutelage.

The emphasis here is on the **transition** of states from war and/or occupation into the post-war era. Indeed, the defeat of the Axis powers in Europe was followed by a variety of political outcomes. Not all formerly occupied countries were reconstituted as sovereign and integral states. Some emerged independent but territorially truncated and the three Baltic states were reabsorbed into the Soviet Union. The very different experience of the European states-victims of aggression during World War II and its aftermath is apparently due to various factors, both external and domestic. Among the former, the impact of the policies of foreign powers, conquering or liberating, can hardly be exaggerated. With regard to domestic factors, those affecting the cohesion of a society and its ability to withstand the rigours of war and/or occupation apparently stand out. In his attempt to explain the very different impact of German conquest across Europe, Polish historian Waclaw Dlugoborski has identified the following variables: first, the stability of pre-war social structures; secondly, the 'endurance' of different types of society and their ability to preserve their distinct identities under occupation; thirdly, the '**social legitimacy**

of pre-war domestic institutions', especially in comparison with those imposed by the occupier; and fourthly, the relative importance of social or ethnic groups which fell victim to policies of dislocation or extermination implemented by the occupying power(s).[5. P. 8–9] In other words, the disintegration of a country's social cohesion, the fragmentation of its national identity and the incapacity of its institutions to resume their pre-war authority, i.e. their loss of legitimacy, rendered its post-war restoration an all but impossible task.

Although the return to peacetime conditions in Europe was nowhere uneventful, only in a minority of cases liberation (or capitulation) was preceded and/or followed by civil strife, with or without foreign intervention. It is argued that, however crucial the policies of foreign powers may have been, the transition process owed much to circumstances prevailing in each state and extending back to its pre-war regime. It is also submitted that, among these circumstances, the existence of a domestic authority with broad recognition of its right to rule was important, if not critical, in making the difference between a peaceful and a crisis-ridden transition. A valid claim to **legitimacy** significantly facilitated a government's task to reclaim the monopoly of violence throughout the national territory, inspire loyalty among the majority of the population, secure foreign recognition and deter domestic rivals. Even in cases where 'liberation' meant the advent and more or less temporary presence of foreign armies, the existence of a legitimate authority could have far-reaching effects not only for the character of transition from war to peace, but also for the political future of a given state. In simple terms, legitimacy facilitated restoration, while delegitimation produced revolution; and it was *democratic* legitimacy that, as World War II drew to its end, appeared to guarantee a rather peaceful restoration.

Stressing the historically conditioned nature of legitimacy, [6. P. 383] Conway and Romijn identify three broad types of countries in transition from war to peace. At the one end of the spectrum, where Scandinavia predominates, they place states with a strong legitimacy background. A clear case in point is Denmark, a country with an exceptional record of political stability and social cohesion during the interwar years, where, as has been noted, national institutions remained operative even after the initially indirect German control turned into outright occupation. Such **continuity** is considered a potent guarantee (or deterrent) against the emergence of alternative poles of legitimacy. (9) At the opposite end of weak legitimacy, one finds what these authors define as 'civil war states', e.g. Hungary, Italy and, of course, Greece and Yugoslavia. There, it is argued, the absence of a commonly accepted notion 'of what constituted political legitimacy' led to extreme polarization. This in turn facilitated the rise of 'alternative pretenders to power' who pursued 'a strategy of revolutionary legitimation'. Finally, countries such as Belgium, France and Poland are located in an intermediate space, where political legitimacy was fragmented among different agents, 'each of which sought to build upon different forms of legitimacy'. [6. P. 387; 7. P. 179–185]

At this point, it is necessary to distinguish between internal and external legitimacy, and to attempt a definition of these concepts in the specific context of World War II. It is rather easier to define **external legitimacy** as recognition accorded

to a government by third countries. This in principle secures its acceptance as the incarnation of a state's continuity at the international level. It is all the more important wherever foreign military intervention is indispensable for restoring national sovereignty to states-victims of aggression. External recognition is facilitated if the government in question controls at least part of national territory or, in case of complete enemy occupation, it can claim a title of continuity or succession in relation to the last national government before the loss of territorial sovereignty. Of course, in the case of a government-in-exile, it matters a great deal if its aims are in harmony with those of the foreign powers which recognize it. (10) Otherwise, as the cases of Yugoslavia and Poland prove, such recognition may be rendered meaningless to the extent that one or more of these powers assist a pole of authority operating beyond the control of the government-in-exile.

Internal legitimacy is a trickier issue, since it is not so easy to gauge. (11) It has been noted that the variety of political systems and cultures in pre-war Europe renders a general interpretation problematic. Conway and Romijn stress the importance of **political culture** as a factor of **continuity**, which reinforces legitimacy, in so far as it provides recognizable and durable 'frames of reference' to which the exercise of political power must conform in order to be acceptable to the ruled. [8. P. 2–5] As these authors rightly observe, even the most arbitrary, authoritarian form of government is 'embedded' in a political culture 'from which the state derive[s] its authority but which also constrain[s] it'. [7. P. 383] Conway and Romijn are careful to stress the variety of political cultures across pre-war Europe and their inherent 'fuzziness' – what they describe as the 'murky textures of socially rooted norms and assumptions in which the traditional and the modern, the democratic and the anti-democratic, and the secular and the religious were intertwined'. [7. P. 383].

At this point, one might consider whether it is possible and useful to try and identify prevailing trends, e.g. towards liberal democracy or otherwise. Conway and Romijn warn against the assumption that the values of today's liberal democratic polities enjoyed more widespread acceptance than alternative, more or less authoritarian, models of government, which claimed legitimacy on the basis of *Volkisch*, nationalist or class ideologies. [7. P. 384] In their view, only in 'some fortunate territories', such as Scandinavia, legitimacy became predicated on 'constitutional rule, democratic accountability and respect for legality'. Elsewhere, in the absence of free and fair elections, legitimation or, rather, acquiescence could be extracted through the restoration of traditional modes of authority or charismatic leadership, with the aid of modern devices, [8. P. 7–8; 9. P. 35, 43, 53–54, 60] especially mass propaganda and pseudo-representation in the form of rigged plebiscites and single-ticket 'elections'. Yet, given the fact that authoritarian rule is inherently arbitrary and ultimately rests on coercion, it is worth considering to what extent – and for how long – such methods can really displace democratic politics with their potential for building consent in complex societies and securing the peaceful alternation of power.

The indeterminacy of European political cultures before World War II, especially the relative importance of democracy and the rule of law among their values,

needs to be substantiated, by taking into account the experiences of both the states which maintained their representative pluralist system during the pre-war crisis and those which resorted to more or less authoritarian methods. However, as much as they emphasize variety and fuzziness, Conway and Romijn identify important common elements. Among these, a politically 'neutral' one is what they call the 'culture of bureaucratic uniformity' which is typical of the modern nation state and stresses 'due process, predictability, legality and equity' – with the emphasis on **legality**. (12) Legality of authority, it is argued, was an important value across Europe as was the demand for other core elements of legitimacy: national liberty, just and good government, relative prosperity and respect for 'the will of the people', expressed through some form of participatory politics.

In practice, these values could be interpreted in ways quite remote from the tenets of popular sovereignty. (13) However, when discussing the scope and effectiveness of **the democratic principle** as a legitimizing factor even before World War II, one needs to consider the ultimate **failure of authoritarian regimes** to translate their tactics of legitimacy-building into 'constitutional reality' – or even legality. Despite their carefully orchestrated rituals of popular participation and their known capacity for Orwellian 'Newspeak', especially the distortion and (mis) appropriation of the semantic toolkit of liberal democracy, these regimes generally failed to shape durable popular perceptions of legitimacy which could survive total defeat in war or, as was the case of the Soviet empire, implosion and disintegration. In the long run, 'authoritarian visions' of a community based on race or class and predicated on a high degree of coercion could not compete with the essential attachment to the sovereign nation, its culture and its representative/participatory institutions. [8. P. 13–14; 9. P. 41; 10. P. 165]

Table 2

	Foreign orientation			**Cost of war &/or occupation**			**Exit from war/ transition to peace**		
Type of legitimacy	pro-Allied	pro-Axis	neutral	heavy	medium	light	continuity	fragmentation	civil war
Democratic	B, DK, N, NL	SF	CH, IRL, S		B, N, NL, SF	DK	DK, N, NL, SF	B	
Semi-authoritarian	YU	BG	TR	YU		BG		BG	YU
Authoritarian	GR, PL	HU, RO, SK	E, P	GR, HU, PL, RO	SK			RO, SK	GR, HU, PL
Totalitarian		HR		HR					HR

III. Legitimacy and transition from war to peace

War may enhance the acceptability and prestige of even non-democratic regimes but only in the short run, as the case of the Metaxas dictatorship in Greece demonstrates. A prolonged war and, even more so, defeat and foreign conquest severely test the political, social and economic structures of any country and trigger a **crisis of confidence** in pre-war institutions, especially national governments. The extent of the crisis depends on a number of external and internal factors. Military defeat followed by a harsh occupation regime humiliates national ruling elites and may destroy their credibility as guarantors of national existence; and the ability of these elites to protect essential values, such as life and livelihood, is the ultimate justification of their claim to rule, the basis of their **legitimacy**. [8. P. 16–17; 9. P. 35; 11. P. 70, 74, 81–84; 5. P. 2, 28]. The strength of the bonds between rulers and ruled is in turn crucial for the ability of a society to withstand the tribulations of war and occupation and make its transition to peace with the least trouble possible. Even indirect enemy control, rather than outright occupation, premised on the 'routine' or 'political collaboration' of national authorities, (14) risks alienating a defeated population, especially if or when resistance proves a viable alternative, and thus result in the **fragmentation** of legitimacy. (15) Only highly cohesive Denmark scored a narrow escape from this predicament.

In much of wartime Europe, defeat and occupation undermined social cohesion and national unity by accentuating pre-existing and generating new political, socio-economic and ethnic cleavages. (16) This state of flux enabled various pretenders to dispute the legitimacy of pre-war ruling elites and national institutions and stake their claim to the post-war dispensation of power. Some, if not all, of these counter-claimants may have been politically marginal before the war. This was mostly the case of extreme right or left wing movements, including communist parties.

Both extremes sought to profit from the break-down of national institutions and the ensuing insecurity and disorientation of a population stunned by defeat. Those on the Right, in most cases and at least initially, opted for **collaboration** with the enemy in return for their recognition as legitimate authority. In some cases, among which Vichy France stands out, this course did not immediately alienate a majority of the population. The collaborators' authority was eroded gradually, as the occupation powers' brutality increased in proportion to their receding prospect of victory. (17) The Axis defeat totally discredited collaborators and, eventually, resulted in the radical Right's exclusion from mainstream politics. At the opposite extreme, after a period of prevarication due to the Nazi-Soviet Pact of 1939, communist parties were prominent in actively organizing **resistance** to the occupier. They were determined to exploit their record in this respect in order to disadvantage their domestic rivals, including the moderate, mainstream parties which often proved less inclined or adept at using mass mobilization and violence against the forces of occupation. In most cases, the grim reality of occupation eroded the appeal and, hence, the legitimacy not only of mainstream political forces but also of national institutions: faced with the impotence of central authority, people turned their eyes to either traditional sources of support, such as the family, a local com-

munity and the Church, or to new agents, hatched in wartime conditions. However, this trend could prove reversible, once a national authority was able to restore its power at the end of the war. (18)

In many cases, the pressures exerted by war and occupation ultimately triggered a degree of convergence based on the values of national independence and survival. As Conway and Romijn acknowledge, on the eve of liberation, legitimacy could be claimed by those possessing 'the sacred conch of a **revivified patriotism**' [6. P. 383] – or, in other words, the nationalism of self-preservation, restitution and, in some cases, aggrandizement, which, it should be noted, was *not* inherently democratic. The hegemony of this patriotic discourse dictated identification with (and appropriation of) the **resistance**, which offered not only a moral high ground but also a handy constitutive myth for post-war unity. The obvious exception were those who found themselves on the wrong side, especially after the defeat of the Axis looked increasingly certain, and were subjected to more or less extensive retribution. [6. P. 385; 12. P. 31–32; 11. P. 94; 13. P. 227] Usually with some delay, governments-in-exile became the chief beneficiaries of this process, at least where their return was not vetoed by an Allied great power – as was the case in Poland. Given the continuity with pre-war actors and institutions, one may speak of restoration which, with a few notable exceptions such as Greece and Yugoslavia, the forces of the Resistance, however grudgingly, finally accepted. [11. P. 95] Things turned out differently where the erosion of national institutions had been combined with a strong and defiant resistance or a separatist movement. Wherever the latter had tasted power, they were simply reluctant to relinquish it.

It should be kept in mind that, in terms of political orientation, resistance movements were for the most part sceptical towards, if not dismissive of, existing models of liberal democracy. (19) They often advocated far reaching, even revolutionary changes after liberation (or, in the case of Axis satellites, capitulation). These forces, mostly but not exclusively on the left of the political spectrum, were bound to come up against those who aimed to either restore their pre-war status (mostly governments-in-exile and their supporters at home) or protect interests acquired during the period of war and/or occupation (including groups and institutions with a record of political collaboration with the forces of occupation). [5. P. 24, 29–30] There usually followed an uneasy period, during which different projects for the future of the nation competed with each other. For the sake of argument, we can distinguish between 'restoration' and 'revolution'. It is submitted that the forces of restoration enjoyed an important advantage vis-à-vis their radical rivals, to the extent that the former were recognized as the agents of both constitutional legitimacy by a domestic majority and state continuity by powerful foreign powers.

A relevant argument pointing at a close relationship between legitimacy and **continuity** is offered by Conway, Romijn and another prominent historian of the legacies of occupation, Pieter Lagrou. They dispute the widespread view of liberation and its immediate aftermath as a window of opportunity for radical change or even revolution which was abruptly shut owing to foreign intervention and the impact of the incipient Cold War. The reverse was the case at least in Eastern Europe,

where radical change was effected at the behest of the Soviet 'liberators'. The aforementioned authors have observed **a high degree of continuity**, implying a hard core of legitimacy common to many countries, especially in north-western Europe. In these cases, long-established institutions and social agents, of both 'modern' and traditional provenance, such as elected local authorities, political parties and trade unions, professional and civil society associations, plus the Church, proved able to serve as focal points of loyalty and factors of cohesion and relative stability. Their tradition, skills, even clientelistic networks combined with remarkable adaptability to sustain their influence at a time when day-to-day survival was the overriding consideration. This short-term legitimacy crucially helped them to defend their turf against radical pretenders of power from both the resistance and the collaborationists. (20) Their influence in society proved invaluable to the post-liberation governments in their effort to resume the mantle of long-term legitimacy. Both sides feared a communist takeover. It was this threat, possibly more than the apparent failure of the pre-war state to defend the fatherland, which forced them to realize that a straightforward restoration of the old order was not the best strategy. (21) In their effort to steal off the wind out of the sails of their radical opponents, these essentially conservative forces adopted the rhetoric of **renewal** and supported programmes of reform which ushered in the remarkably 'durable politics of consensus' that prevailed in much of non-communist Europe after the war. [8. P. 17–18; 7. P. 177–179, 198–199; 11. 101–103; 15. P. 9; 5. P. 1, 35]

The political fortunes of resistance figures at both the national and the local level seem to justify the premium put on continuity, with the exception, of course, of Soviet-dominated Eastern Europe and Yugoslavia. Far from being able to fulfill their wartime pledge of a, more or less, clean break with the past, resistance fighters-turned-politicians could generally play their part in post-war West European politics only by joining forces with pre-war political parties. (22) Lagrou mentions General Charles De Gaulle as a successful example of an exiled leader who tapped the legitimizing potential of the resistance from the outset, while presenting himself as the principal agent of continuity, the very incarnation of republican legitimacy. [5. P. 31; 11. P. 93–94] For those who insisted on the path to revolution, it would soon become clear that they had little to offer other than revenge for past wrongdoings and a millenarian vision to a public which largely looked forward to a return to conditions of 'normality' and a peaceful future. And if ideology may serve to undermine legitimacy in the short run, revenge hardly provides a basis for building a viable alternative. [16. P. 120; 10. P. 161, 169]

The analysis by Conway and Romijn implies a further argument in favor of the democratic component of legitimacy. As has been noted, in the widespread delegitimization of the enemy's collaborators these authors perceive a clear indication that **'norms of legitimate government'** were still relevant 'amidst the chaos of wartime Europe'. [6. P. 386; 8. P. 5] And it was during such exceptional circumstances that 'shared basic goals or beliefs' between a people and its leaders become vitally important. [15. P. 126–127] The essence of these goals and beliefs, it is noted, were 'freedom and civil rights', apparently including the right to freely elect one's government,

which starkly contrasted with the oppression of the occupation regimes. [15. P. 136; 10. P. 153–154]. These observations point at a **strong core of democratic legitimacy** broadly shared by societies in several individual states, an element which tended to eclipse alternative forms of justifying power by the later stages of the war.

The case for the ascendancy of democratic legitimacy seems to be corroborated by successive **declarations** of the leading powers of the anti-Axis coalition. Among them most prominent are the Atlantic Charter, (23) the United Nations Declaration, (24) and the Yalta declaration of liberated Europe, (25) which alluded to or explicitly acknowledged the right of every people to freely choose their government. The Yalta declaration, in particular, expressed the commitment of Britain, the United States and the Soviet Union to assist the peoples of former Axis-occupied or even Axis satellite states 'to solve by democratic means their pressing political and economic problems… during the temporary period of instability in liberated Europe'. Beyond this transition period, the three powers pledged to assist these peoples to establish 'through free elections' governments 'responsive to the will of the people'. Of course, Stalin treated such declarations as little more than window-dressing, a view already confirmed by the practice of the Soviet authorities in 'liberated' Poland and occupied Bulgaria and Romania. (26) It is also unlikely that Winston Churchill was prepared to acquiesce to a communist take-over in Greece by constitutional means. Still, it is important that Stalin did not refer to the 'dictatorship of the proletariat' any more than Churchill publicly proclaimed Britain's imperial interests; and, of course, no one considered reviving discredited notions of 'alternative legitimacy', which seemed to consign states like Spain beyond the pale of international respectability. The repetition of the democratic principle at the highest level by the powers which would eventually win the war could not but have helped to foster a widespread belief that **legitimate government was a freely elected one**. (27)

Ultimately, legitimacy depended on the ability of national authorities to construe an image of **efficiency and accountability** to their citizens. [8. P. 19] In most countries, liberation marked the lowest point of national economic output and the extreme compression of the standard of living for the vast majority of the population. In these conditions, the principal non-democratic alternative, communism, could easily gain new recruits by offering an impoverished public 'at least a share out of what remain[ed]'. [16. P. 110] It was thus of the utmost importance that governments and state institutions should at least appear to be doing something in order to meet the most urgent needs of their citizens, from food and clothing to the resumption of public utilities. To that end, they relied not so much on scarce local resources as on the substantial foreign aid which the anti-Axis coalition, especially the United States and the British Empire, were prepared to provide in the aftermath of liberation. (28) Thus, indirectly, the foreign factor could further enhance the domestic legitimacy of transition regimes. Delays or mismanagement would produce the opposite result. [16. P. 212]

A closer examination of defeated and occupied nations of Europe during World War II may reveal that where the elements of external and internal legitimacy concurred (as in Denmark, the Netherlands, Norway, but also in Axis co-belligerent

Finland), the transition from war to peace was relatively smooth. By way of contrast, wherever domestic turmoil and lawlessness were the rule, one or both types of legitimacy were missing or were being disputed, no matter how this 'dynamic' concept was understood by the public of each country. Moreover, in cases where, at the moment of liberation, there existed governments which could claim continuity with the last *elected* pre-war leadership (as was the case in Belgium, Denmark, the Netherlands, Norway or Finland, but not in Greece, Italy or Hungary), these governments succeeded in overcoming whatever domestic challenge to their authority presented itself, with or without foreign interference. Therefore, perhaps one should not lightheartedly downplay the element of democratic legitimacy conferred by free elections in the framework of a pluralist representative system, which since the liberal revolutions of the late 18th and early 19th centuries had been integral to the notion of popular sovereignty and to the political practice and culture of countries, otherwise as diverse as Denmark, Belgium or Greece.

Of course, the benefit of internal and external legitimacy is not by itself sufficient to determine the outcome of a crisis centered on the future form of government, the social regime and the international orientation of countries weakened by war and/or occupation. It is no coincidence that legitimacy in the form of continuity with pre-war institutions proved easier to achieve wherever the Western Allies had been able to establish a strong military presence. (29) Foreign aid or intervention may decisively tip the balance in favour of one or the other side. What is more, a militant minority may manage to prevail thanks to superior leadership, control of the necessary resources, or some other material advantage. However, the existence of a government which enjoys broad legitimacy within and without the country, and can thus be deemed worthy of support by foreign powers, disadvantages the forces of revolution, even when they can count on help from abroad.

NOTES

(1) A general overview of the wartime experience of Europe's peoples and states is provided in Mark Mazower, *Hitler's Empire: How the Nazis Ruled Europe*, New York: The Penguin Press, 2008. The Scandinavian countries are treated in John Gilmour and Jill Stephenson (eds.), *Hitler's Scandinavian Legacy*, London: Bloomsbury, 2013. On Finland, in particular, see Olli Vehviläinen, *Finland in the Second World War: Between Germany and Russia*, London – New York: Palgrave, 2002. Belgium is the subject of Martin Conway's monograph *The Sorrows of Belgium: Liberation and Political Reconstruction, 1944–1947*, Oxford: Oxford University Press, 2012. For solid introductions to Bulgaria and Greece during the period under study, see the relevant chapters in R.J. Crampton, *A Concise History of Bulgaria*, and Richard Clogg, *A Concise History of Greece*, both by Cambridge University Press (2nd edition, 2012, and 3rd edition, 2013, respectively).

(2) Weber used the term *Herrschaft* which can be translated as 'domination' in the sense of 'established authority that allocates the right to command and the duty to obey': Reinhard Bendix, *Max Weber: An Intellectual Portrait*, London: Methuen, 1966, 290–291.

(3) *Contemporary European History*, special issue, 13.4 (2004); and Peter Romijn and Ben Frommer, 'Legitimacy in Inter-War Europe', in Martin Conway – Peter Romijn (eds.), *The War for Legitimacy in Politics and Culture 1936–1946*, Oxford: Berg, 2008. It should be noted that neither work covers the states of Southeast and Eastern Europe.

(4) The term 'consent' is used throughout the text as denoting a minimum level of agreement with decisions taken by a delegated authority, elected or otherwise. It is distinguished from 'consensus' in the sense of a high level of agreement with a decision collectively reached.

(5) This could entail not only greater state intervention in the economy, but also bans on labour action and 'extremist' political activity.

(6) For a thorough discussion of the crisis of legitimacy facing liberal democracies in Europe during the 1930s, see Conway – Romijn 2008, 29–65.

(7) Ireland, Sweden, and Switzerland.

(8) Portugal, Spain, and Turkey.

(9) For a succinct account of the Danish experience during World War II, see Niels Wium Olesen, 'The Obsession with Sovereignty: Cohabitation and Resistance in Denmark 1940–45', in Gilmour and Stephenson 2013, 45–72.

(10) In connection with the governments-in-exile formed in the aftermath of Germany's stunning victories in 1939–41, it has been remarked that their recognition and reception in London owed less to their ability to command allegiance at home or continue the war and more to the anxiety of the British to legitimize their own war effort as part of an 'Allied front': Lagrou 2000, 27–28.

(11) Various indices have been proposed for 'measuring' legitimacy, such as a regime's 'practice of power, the evidence of consent', and the compatibility of its actions with the prevailing political culture: Conway and Romijn 2008, 10, 13; Romijn and Frommer 2008, 46, 57.

(12) Following the Weberian analysis of legitimacy, Romijn and Frommer observe that the principle of legality binds 'both rulers and ruled to proper procedures of political decision-making'. This entails respect for the 'rules of the game', guarantees predictability and provides the security necessary for much social and economic activity. See id. 2008, 38–39.

(13) For instance, the authors observe different sources of legality which, to some extent, could co-exist 'like the accretions of successive geological periods': succession, election, anointment and performance: Conway and Romijn 2008, 10–13; similarly, Romijn and Frommer 2008, 37; Romijn – Conway – Peschanski 2008, 69–73.

(14) Political collaboration is defined as 'an arrangement in which institutions and persons being considered by a majority of the population as their legitimate representatives, collaborate with the (foreign) organs of the occupation': Ole Kristian Grimnes, 'Hitler's Norwegian Legacy', in Gilmour and Stephenson 2013, 167.

(15) For an elaboration of 'fragmented legitimacy' among different contenders in pre-war and wartime Europe, see Romijn – Conway – Peschanski 2008, 74ff. The fragility of the public approval for collaboration, which was initially observed in many European countries, is demonstrated by Nico Wouters, Niels Wium Olesen, and Martin Conway, 'The War for Legitimacy at the Local Level', in Conway and Romijn 2008, 128–130.

(16) The Scandinavian states stand out as exceptions of countries with a high level of cohesion. On the Danish experience of 'active co-operation' with the enemy as the price for salvaging internal sovereignty, see Olesen 2013, 52–59. In Norway, the German occupation helped to overcome the acute polarisation between the 'bourgeois' parties and

the Labour left during the interwar period: Tom Kristiansen, 'Closing a Long Chapter: German-Norwegian Relations 1939–45', in Gilmour and Stephenson 2013, 96. For the Finnish case of co-belligerency with the Axis, see: Oula Silvennoinen, 'Janus of the North? Finland 1940–44', in Gilmour and Stephenson 2013, 129–146; Juhana Aunesluoma, 'Two Shadows over Finland', ibid., 200.

(17) Bloody reprisals and plunder easily spring to mind, but, as Romijn, Conway, and Peschanski observe, the requisitioning of workforce, especially for labour in the German Reich, may have been 'the single most important factor' in alienating populations from collaborationist regimes: id. 2008, 88–89.

(18) Various authors agree that, despite the ascendancy of the local at the expense of the national and the boosting of supranational designs, the occupation did not really signify the demise of the nation-state as the focal point of loyalty and framework of political agency: Romijn – Conway – Peschanski 2008, 98; Wouters – Olesen – Conway 2008, 136–141. An obvious exception was secessionist movements which led to the formation of puppet entities under Axis tutelage.

(19) A notable exception to this rule was the Norwegian resistance which remained committed to the restoration of democracy and loyal to the government-in-exile: Kristiansen 2013, 93; Grimnes 2013, 162–163.

(20) On the importance of local institutions and their adaptability under German occupation, see Wouters – Olesen – Conway 2008, 109–146. On the cultural and psychological preconditions of this phenomenon, see Mary Vincent and Erica Carter, 'Culture and Legitimacy', in Conway and Romijn 2008, 147–176.

(21) The word 'restoration', Lagrou notes, was to be avoided in favour of 'renewal' which better served the need to legitimize the post-war order. Its meaning was that the appropriate lessons had been learned, and pre-war weaknesses would be overcome: Lagrou 2000, 22.

(22) Lagrou 2000, 26; Pittaway and Dahl 2008, 190–191; Geoffrey Warner, 'Allies, Government and Resistance: The Belgian Political Crisis of November 1944', *Transactions of the Royal Historical Society*, Vol. 28 (1978), 45. The same conclusion with reference to local politics is reached in Wouters – Olesen – Conway 2008, 141.

(23) The Charter, signed by Franklin D. Roosevelt and Winston Churchill on 14 August 1941, acknowledged the democratic principle through its recognition of self-determination as a foundation of a 'better future for the world'. The leaders of the United States and the United Kingdom pledged to 'respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live'.

(24) Signed by the representatives of 26 states on 1 January 1942, the Declaration endorsed the Atlantic Charter and expressed commitment to the defence of 'life, liberty, independence and religious freedom', and the preservation of 'human rights and justice'.

(25) The Yalta declaration was signed by Churchill, Roosevelt and Stalin on 13 February 1945. It also reaffirmed the commitment of the 'Big Three' to the principles of the Allied Charter. Significantly, it interpreted the 'right of all people (sic) to choose the form of government under which they will live' enunciated in the Charter as identical with their right 'to create democratic institutions of their own choice'.

(26) Stalin's attitude towards liberated or former enemy countries has long been identified with his remark recorded by Yugoslav communist leader Milovan Djilas, two months after Yalta: 'This war is not as in the past; whoever occupies a territory also imposes on it his own social system. Everyone imposes his own system as far as his army has power

to do so. It cannot be otherwise': Milovan Djilas, *Conversations with Stalin,* New York: Harcourt, Brace & World, 1962, 90.

(27) This principle, which is central to the political culture of parliamentary democracy, would eventually be enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly of the United Nations in 1948, which stated in Art. 21.3: 'The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures'.

(28) This was done chiefly through the United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). For a succinct account of its activity in liberated Europe see Hitchcock 2008, 215–248.

(29) For a discussion of this, all important factor, see Romijn – Conway – Peschanski 2008, 103; Pittaway and Dahl 2008, 194–196.

REFERENCES

[1] Source: https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties.

[2] S. S. Wolin. Max Weber: Legitimation, Method, and the Politics of Theory, in William Connolly (ed.), Legitimacy and the State, Oxford: Blackwell, 1984, 75.

[3] R. Bendix. Max Weber: An Intellectual Portrait', London: Methuen, 1966.

[4] J. Habermas. Legitimation Crisis (tr. by Thomas McCarthy). Boston: Beacon Press, 1973.

[5] P. Lagrou. The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in Western Europe, 1945–1965. Cambridge: C.U.P., 2000.

[6] M. Conway, P. Romijn. Introduction//Contemporary European History. Vol. 13, No. 4, Theme Issue: Political Legitimacy in Mid-Twentieth Century Europe (Nov., 2004).

[7] M. Pittaway, H.-F. Dahl. Legitimacy and the Making of the Post-War Order, in Conway and Romijn, 2008.

[8] M. Conway, P. Romijn (eds.). The War for Legitimacy in Politics and Culture 1936–1946. Oxford: Berg, 2008.

[9] P. Romijn, B. Frommer. Legitimacy in Inter-War Europe, in Martin Conway – Peter Romijn, 2008.

[10] M. Vincent, E. Carter. Culture and Legitimacy, in Martin Conway – Peter Romijn, 2008.

[11] P. Romijn, M. Conway, D. Peschanski. National Legitimacy – Ownership, Pretenders and Wars, in Martin Conway – Peter Romijn, 2008.

[12] R. Overy. Scandinavia in the Second World War, in J. Gilmour and J. Stephenson Hiltler's Scandinavian legacy, 2013.

[13] A. Little. Conclusion, in J. Gilmour and J. Stephenson 'Hiltler's Scandinavian legacy, 2013.

[14] M. Conway. The sorrows of Belgium: liberation and political reconstruction, 1944–1947. Oxford, 2012.

[15] N. Wouters, N. Olesen, M. Conway. The war for legitimacy at the local level, in M. Conway, P. Romijn, 2008.

[16] Political Intelligence Report on the Netherlands to the Supreme Headquarters, Allied Forces Europe, 31 March 1945, quoted in William I. Hitchcock, *Liberation: The Bitter Road to Freedom, Europe 1944–1945*, New York: Free Press, 2008.

Научная статья

Противоядие от гражданской войны? Малые государства Европы и политическая легитимность во время Второй мировой войны

И.Д. Стефанидис

Школа права, Университет Аристотеля
G. Papandreou (Antheon) 23, 54645, Фессалонинки, Греция

Опыт малых европейских государств, вовлеченных во Вторую мировую войну, весьма различен. Не все они вступили в войну как жертвы агрессии, и даже те, кто был вовлечен в нее подобным образом, не обязательно испытали на себе все тяжести военного времени и иностранной оккупации. Их развитие после окончания войны также весьма разнится: для некоторых послевоенный период был относительно мирным, другие оказались втянутыми в гражданскую войну, для третьих этот период охарактеризовался непродолжительными гражданскими волнениями. В данной статье автор утверждает, что среди факторов, повлиявших на исход участия малых европейских государств во Второй мировой войне, нельзя недооценивать фактор политической законности их правительств. Влияние этого фактора особенно ощущалось во время чувствительного перехода от войны и/или оккупации к мирному времени. Автор приходит к выводу, что во демократическая легитимность в значительной степени способствовала преодолению тягот послевоенного времени и относительно плавному восстановлению свободных государственных институтов без риска гражданской войны.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Европа, малые государства, легитимность, легитимизация, переход

Информация об авторе / Information about the author

Иоаннис Д. Стефанидис, профессор, Школа права, Университет Аристотеля (Греция). E-mail: ids@law.auth.gr

Ioannis D. Stefanidis, Professor, School of Law, Aristotle University of Thessaloniki (Greece). E-mail: ids@law.auth.gr

Для цитирования / For citation

Стефанидис И.Д. Противоядие от гражданской войны? Малые государства Европы **и** политическая легитимность во время Второй мировой войны // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2019. Т. 11. № 2. С. 117–135. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8127-2019-11-2-117-135

Stefanidis I.D. Antidote to Civil War? European ‘small states’ and political legitimacy during World War II // RUDN Journal of World History. 2019. Vol. 11. No. 2. Pp. 117–135. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8127-2019-11-2-117-135

Рукопись поступила в редакцию / Article received: 15.01.2019

RUDN Journal of World History
Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
2019 Vol. 11 No. 2 136–160
http://journals.rudn.ru/world-history

DOI 10.22363/2312-8127-2019-11-2-136-160 Научная статья

Эмиграция евреев из Советского Союза в 1960–1970-е гг. на страницах американской прессы

А.В. Антошин

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
620003, Россия, Екатеринбург, пр. Мира, 19

Д.Л. Стровский

Ариэльский университет
40700, Израиль, Ариэль, Кирьят Хамада, 1

Цель исследования: анализ особенностей советской эмиграции и репатриации[1] периода 1960–1970-х гг., когда впервые после длительного исторического перерыва и в результате политических договоренностей между СССР и США сотни тысяч советских евреев получили возможность навсегда покинуть Советский Союз и поселиться в США и Израиле. Авторское внимание сосредоточено главным образом на особенностях освещения этих вопросов в ведущих американских печатных СМИ.

Выводы: обращение к медиа как основному эмпирическому источнику данного исследования позволяет увидеть особенности политического «лица» американской прессы того времени. Данное исследование позволяет расширить традиционные рамки познания эмиграции на фоне ее общеисторического и культурного развития в XX в.

Ключевые слова: эмиграция, советская культура, «отказники», американские печатные СМИ, политизация массовой информации

© Антошин А.В., Стровский Д.Л., 2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

[1] Мы используем эти слова, с одной стороны, как синонимы, идентифицирующие отъезд советских евреев за рубеж. С другой стороны, между этими понятиями присутствует существенная смысловая разница. Эмиграция определяется самим фактом отъезда, независимо от того, какую страну выбирает тот или иной человек местом своего дальнейшего проживания. Репатриация для евреев знаменует собой приезд в Израиль, на свою историческую родину, где изначально, несколько тысячелетий назад, формировались иудейская культура и религия, и откуда впоследствии, под воздействием различных обстоятельств, эти люди начали рассеиваться по всему миру.

Введение

Российская диаспора за рубежом во все времена позиционировала себя как мощный и уникальный в своем развитии духовный феномен, сформированный на основе унаследования ценностных ориентиров своей культуры. «Мы не в изгнании, мы в послании», – подчеркивали деятели культуры эмиграции, указывая, что одной из основополагающих и универсальных задач отечественной эмиграции является сохранение своей идентичности в условиях переплетения новых культур.

При всей духовной значимости этого суждения нельзя не признать его определенную идеалистичность. Эмиграция всегда объединяет людей, разнящихся по своим культурным и морально-нравственным приоритетам. Возникающая ситуация не позволяет этим людям стать носителями единых этических ценностей, создающих в их сознании общее восприятие мира. Российская диаспора в этом смысле не стала исключением из общих правил. Более того, те многочисленные «волны», которые она прошла, начиная еще с XIX в., позволяют говорить о ней как о чрезвычайно объемном и многофакторном понятии, вместившим в себя разнообразие духовных и политических интересов, зачастую никак не объединенных между собой. Это всегда создавало и создает по сей день сложности познания самой диаспоры как общественно-политического явления на всех этапах развития отечественной истории.

Данное суждение подтверждается примером диаспоры, сформированной в 1960–1970-е гг. из людей, уехавших из Советского Союза и поселившихся преимущественно в США и Израиле. Процесс эмиграции и репатриации был массовым и вовлек в свою орбиту значительное число людей. Вместе с тем его отличительной особенностью стал национальный состав отъезжавших. Значительная их часть были евреями или людьми, семейными узами связанными с этой национальностью. Это определило идентичность самой эмигрантской «волны», уникальность которой состоит в особой ментальности тех, кто отъезжал за рубеж. Хотя советский и постсоветский периоды были ознаменованы наличием нескольких эмигрантских волн, однако ни одна из них не была столь «национально ориентированной», как та, которая получила развитие в 1960–1970-е гг.

Как в дореволюционной России, так и в СССР евреи всегда считались особой общностью людей по своим ментальным и культурным ориентирам. Наряду с этим они во все времена ощущали ярко выраженную дискриминацию по отношению к себе со стороны представителей власти и общества в целом. Одновременно с этим советские евреи, а не какая-либо иная социальная и национальная группа получали моральную поддержку в западных странах со стороны их политической элиты и средств массовой информации. Это объяснялось наличием в этих странах, и в первую очередь в США, «еврейского лобби», поддерживающего «своих» по всему миру. Отстаивание интересов советского еврейства в 1960–1970-е гг., с учетом его ярко выраженной дискриминации в СССР было важной составляющей деятельности этого «лоб-

би». Говоря об этом явлении, мы не имеем в виду какой-то экономический и идеологический центры, замыкающие на себе весь процесс помощи евреям. Это были чаще всего действия отдельных организаций, если не считать политические решения, принимавшиеся на уровне государственных институтов (Конгресса США и др.).

Отмеченная поддержка носила ярко выраженный политизированный и даже конъюнктурный характер, с учетом ее национальных, а не политических или общегражданских ориентиров. Тем не менее, в конкретных политических обстоятельствах 1960-х и особенно 1970-х гг. она сыграла свою значимую роль, помогая советским евреям в их желании выехать из Советского Союза. Следует учесть, что борьба за права советских евреев, организованная в западных странах, определялась и процессами, происходящих в сознании их зарубежных единомышленников («братьев по крови»). Начиная с 1960-х гг. интеллектуальные силы американского и европейского еврейства пытались найти и обосновать новые основы своей идентичности. С одной стороны, давало о себе знать кризисное состояние традиционных моделей еврейской самоидентификации. На повестку дня все более активно вставал в эти годы вопрос, может ли полноценно развиваться еврейская культура за пределами Палестины, или она все же неотделима от географического фактора. Отсюда и внимание многих государственных институтов и общественных организаций США, связанных с «еврейским вопросом», к тому, что происходит в этом отношении в Советском Союзе. Понятно, что стремление большого числа советских евреев покинуть свою страну в конце 1960-х гг. и на протяжении всех 1970-х гг. оказалась благодатной темой для организации в то время всякого рода международных конференций и семинаров за рубежом, с привлечением тамошних политиков, деятелей науки и культуры.

Внимание к отмеченной теме активно проявляли и зарубежные СМИ. Американские медиа выглядели на общем фоне наиболее активными, ввиду определенной позиции, занимаемой тогда политической элитой США. С одной стороны, эта элита руководствовалась прагматическими интересами – созданием для своей страны наиболее благоприятных условий экономического развития. Формирование советско-американских отношений на тот момент времени зависели от решения вопроса, связанного с отъездом евреев из СССР. С другой же стороны, участие в судьбах этих людей воспринималось американскими политиками как важное условие формирования своей репутации в глазах массовой аудитории. СМИ подхватили эти настроения и активно развивали их.

Ключевыми историческими источниками для написания данной статьи послужили американские периодические издания – «Нью-Йорк таймс», «Чикаго трибьюн», «Лос-Анджелес таймс» и «Крисчен сайнс монитор». Это ведущие частные газеты, имеющие долгую историю существования и зарекомендовавшие себя в целом как источники надежной информации. Все они относятся к качественной прессе, рассчитанной, прежде всего, на аудиторные группы, которые управляют обществом – политических и общественных деятелей, руководителей крупных корпораций и бизнеса в целом и т.д. Именно по

этой причине отмеченные издания нацелены на распространение более или менее основательной достоверной информации, представленной не только в собственно информационных, но и аналитических жанрах (что является важнейшим атрибутом качественной прессы). Рассмотрение сложного и противоречивого вопроса, касающегося эмиграции и репатриации советских евреев в 1960–1970-е гг., потребовало обращения именно к таким медиаисточникам. Использование СМИ в ходе анализа информации политического содержания не является принципиально новым, однако следует признать, что тема отечественной эмиграции по-прежнему недостаточно востребует медийную информацию в качестве основного источника научного познания. Американская периодика, оказавшаяся тогда в центре событий, оказалась чрезвычайно полезной для раскрытия заявленной темы.

Было рассмотрено в общей сложности 146 информационных и аналитических публикаций за период с 1967 г. (после окончания Шестидневной войны в Израиле) по 1979 гг., когда советская эмиграция окончательно прекратилась – по причине вступления советских войск в Афганистан и нежелания СССР и США более обсуждать эту тему.

Анализ американской прессой фактов на отмеченную тему не был лишен политических пристрастий, что было естественным в условиях тогдашнего жесткого противостояния между СССР и США. С учетом этого развивались содержательные тенденции американской печати вообще и восприятие ею «еврейской темы» в частности.

Проблематика эмиграции советских евреев в 1970-е гг. давно вызывает интерес как у отечественных, так и у зарубежных авторов. Известный исследователь Б. Морозов опубликовал большое количество документов, посвященных этой тематике [33]. Некоторые исследователи концентрируются прежде всего на проблеме советской национальной политики как ключевой, которая, по их мнению, служила главной причиной появления у евреев желания уехать из СССР [29; 30]. Проблемы формирования и развития движения за выезд евреев из СССР находились в центре внимания многих западных исследователей [10; 13; 47]. Уже не раз исследовались в научной литературе и вопросы влияния внешних факторов на процесс эмиграции советских евреев в 1970-е гг. [1; 2; 29; 43; 46]. При всем различии подходов, которые характерны для работ указанных авторов, все они отмечают, что атмосфера «разрядки» оказывала весьма серьезное влияние на ход еврейской эмиграции из СССР, во многом определяя его «подъемы» и «спады». Кампания помощи советским евреям со стороны США в рассматриваемый период стала предметом изучения М. Фридмана и А. Чернина [26].

В израильской и западной исследовательской литературе вопросы репатриации советских евреев рассматриваются в рамках более общей проблематики эволюции Государства Израиль. В этой связи прибытие в 1970-е гг. евреев из Советского Союза рассматривается как один из важных этапов истории Алии [41; 42; 51]. Историки связывают различные этапы Алии с эволюцией еврейского национального самосознания в СССР [16; 28].

Значительно менее исследован в литературе вопрос об особенностях адаптации советских евреев в США, их месте и роли в американском обществе. Так, в работе П. Аппельбаума проанализировано восприятие американским общественным мнением движения эмиграции советских евреев в США и помощи им со стороны американских еврейских организаций [7]. Необходимо также выделить труд под редакцией З. Гительмана, М. Гланца и М. Гольдмана, посвященный различным аспектам жизни бывших советских евреев в эмиграции [17].

Вместе с тем исследователи данной проблемы ранее широко не привлекали такой важный вид исторического источника, как американская периодическая печать. Проблема репрезентации советской еврейской эмиграции в американских СМИ также пока еще не становилась объектом специального изучения, несмотря на наличие достаточно большого числа исследований медиапространства [12; 36]. Данное обстоятельство обусловливает дополнительную актуальность нашей статьи.

Причины и характер эмиграции советских евреев: к истории вопроса

Всплеск самосознания советских евреев и последовавшая за этим их репатриация и эмиграция приходятся, как уже отмечалось, на вторую половину 1960-х – первую половину 1970-х гг. Это было связано с победой Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 г. [2. С. 466]. События Шестидневной войны 1967 г. укрепили чувства гордости советских евреев за свою историческую родину. Желание многих из них покинуть Советский Союз, где они выросли и жили, подтверждало эту тенденцию. Этому способствовала складывавшаяся на тот момент обстановка. В июне 1968 г. (через год после разрыва отношений с Израилем) в ЦК КПСС поступило совместное письмо за подписями тогдашнего министра иностранных дел СССР А.А. Громыко и председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова. В нем высказывалась поистине революционная по тем временам идея: разрешить советским евреям уехать из страны. Это было продиктовано желанием руководства страны создать экономические и торговые преференции во взаимодействии с западным миром, которые могли состояться только при соблюдении в СССР прав человека. С конца 1960-х гг. политика СССР в отношении Израиля и выезда евреев действительно смягчается.

В Советском Союзе поначалу рассчитывали, что число отъезжающих будет ограниченным. В самом деле, в 1970 г. по израильским визам страну покинула лишь тысяча человек, однако в 1973 г. таких было уже свыше 34 тысяч, а до середины 1970-х репатриировалось около 100 тыс. чел. Часть их отправилась в Израиль, руководствуясь «духом крови» и сионистскими настроениями, другие приняли решение обосноваться в США. Хотя оба потока отъезжавших были едины в своем стремлении покинуть СССР, они существенно отличались друг от друга видением своего будущего. Если первые воспринимали Израиль не просто как новую для себя страну, но, прежде всего, как особое, едва ли не священное место для всех иудеев, то вторые значительно

менее были отягощены духовными исканиями и воспринимали свой отъезд как возможность получить то, чего были лишены в привычной жизни. Это касалось реализации своих профессиональных возможностей, материальных благ, лучшей доли для своих детей и т.д. Было очевидным, что эта мировоззренческая разница между представителями двух групп делало практически невозможным их сближение друг с другом.

В 1970-е гг. «разрешительная» политика СССР в отношении евреев если и развивалась, то непоследовательно и противоречиво. «Окно» окончательно закрылось с приходом 1980-х гг., уже после ввода советских войск в Афганистан и высылки из Москвы академика-диссидента А.Д. Сахарова. Руководство СССР все отчетливее ощущало возраставшее политическое давление со стороны Запада и окончательно прекратило попытки идти на компромисс с ним по «еврейскому вопросу». Он был признан «закрытым». Одновременно власти прибегли к репрессивным мерам в отношении активистов, ратовавших за отъезд из страны. Если в 1979 г. выездные визы получили 51 333 чел., то в 1982 г. таковых было лишь 2688 чел. По итогам 1983 г. число виз уменьшилось до 1315, а в 1984 г. их было выдано лишь 896.

Следует учесть, что процесс отъезда евреев из СССР имел достаточно длительную историческую традицию. Так, за период 1923–1937 гг. из СССР эмигрировало около 70 тыс. евреев, в том числе 32 тыс. в США и около 25 тыс. в Палестину. При этом большее число таких отъездов пришлось на 1920-е гг., когда в СССР реализовывалась новая экономическая политика и границы страны еще не были окончательно закрыты. Однако по мере ужесточения в стране внутренней политики усложнялись и проблемы с эмиграцией и репатриацией. Полностью же отъезд евреев прекратился в конце 1930-х гг., когда усилиями Кремля был окончательно возведен «железный занавес» между СССР и всем остальным миром. Возможность смены страны проживания для евреев, как и представителей всех остальных национальностей, живших на территории страны, отныне полностью исключалась.

С середины 1950-х гг. этот процесс был возобновлен. В данном случае уместно говорить в большей мере о репатриации, чем эмиграции, по причине того, что конечным пунктом для своего перемещения советские евреи воспринимали именно Израиль. Следует, однако, признать, что сам процесс был ограниченным: общее число уехавших с 1955 по 1967 гг. составило немногим более 12 тысяч чел. [4. С. 68]. Практически все репатрианты имели родственников на Земле обетованной, что и определило возможность получения ими официального разрешения на отъезд из СССР. Многие из них длительное время готовились к отъезду: изучали иврит, традиции и историю иудаизма (как правило, скрытно, в подпольных условиях). Это в дальнейшем позволило им более или менее успешно абсорбироваться в Израиле.

Таким образом, новый этап переселения евреев из СССР в другие страны с конца 1960-х и на протяжении всех 1970-х гг. не был уникальным явлением, с учетом всей предшествующей его эволюции. Вместе с тем это время репатриации качественно разнился по сравнению со всеми предшествующими этапами.

Принципиальная разница между периодом 1960–1970-х гг. и более ранними этапами, на которые пришлись еврейская эмиграция и репатриация, заключалась не столько в количественных показателях этого процесса, сколько в качественном составе его участников, а также в мощном резонансе, который он получил в мировых СМИ. Эта волна на фоне всех предыдущих отличалась наиболее высоким образовательным и профессиональным уровнем и специфическими политическими взглядами отъезжавших. Все это отличало эмигрантов и репатриантов 1960–1970-х гг. от их предшественников.

Ощущение несправедливости по отношению к себе прочно сформировало в сознании многих из тех людей неприятие реальности в тогдашнем СССР. Некоторых можно было причислить к числу откровенных диссидентов, обсуждавших эти идеи на домашних кухнях. Другим феноменом эмиграции и репатриации того времени, по сравнению с более ранними периодами, стало наличие большого числа «отказников» – тех, кому по разным причинам был запрещен выезд из СССР. Такие отказы, ставшие массовым явлением уже в 1970-е гг., могли длиться годами, что приводило к бедственному положению самих «отказников», чаще всего не имевших постоянной работы и заработка. Одновременно эти люди становились «разменной картой» в тогдашней политической игре между СССР и США. Это выразилось, например, в развитии ситуации вокруг американского Закона о торговле (1974). Принятая к этому документу поправка ратовала за предоставление Советскому Союзу статуса наибольшего благоприятствования в этой сфере деятельности – при условии предоставления советским евреям свободы выезда. Советское руководство пошло на эту сделку, но при этом многие желающие выехать за пределы СССР испытывали жесткий моральный прессинг.

В целом, 1960–1970-е гг. стали важным этапом в истории отечественной эмиграции. Реальность этого периода определила формирование особого мышления тогдашней интеллектуальной элиты советского общества, а также развитие многих последующих явлений внутриполитической жизни в стране. Наиболее наглядно эти проявления, как уже отмечалось, заметны через СМИ, в силу их активного вторжения в повседневную жизнь. Американская пресса, как уже подчеркивалось, не просто уделяла пристальное внимание освещению самого этого вопроса, но и имела определенную позицию. В ее основе были приоритеты внешней политики США и собственные медийные подходы, определяемые формальным невмешательством в деятельность СМИ со стороны американских государственных институтов. Это в известной мере позволяло этим СМИ демонстрировать свое видение складывавшейся ситуации.

Исследование проблемы

На рубеже 1960-х – 1970-х гг. на страницах американских печатных СМИ появились первые материалы, рассматривавшие ситуацию вокруг репатриации советских евреев в Израиль. Пресса активно писала о препятствиях, чинимых советскими властями в отношении выезжавших. Так, в декабре 1969 г. в «Нью-

Йорк таймс» появилось интервью с москвичом Борисом Шперлингом, 11 лет добивавшемся разрешения на выезд из страны. Он рассказывал о тех унижениях, которые довелось пережить евреям, стремившимся покинуть СССР [37].

В исследуемый нами период не только «Нью-Йорк таймс», но, пожалуй, все ведущие газеты США обратились к «еврейской теме». Она муссировалась не только в информационных заметках, появлявшихся по поводу каких-либо конкретных событий, но и звучала в обзорах и редакционных комментариях. По утверждениям американской прессы, даже те евреи, которые получали разрешение покинуть СССР, продолжали испытывать давление со стороны советских властей. Приводимые факты никак не укладывались в сознание простых американцев и поэтому вызывали протесты с их стороны. Здешняя печать также постоянно сообщала об этом. Так, например, в апреле 1970 г. в «Чикаго трибьюн» появилась заметка о состоявшемся в Нью-Йорке марше 20 тыс. евреев, протестующих по поводу проявлений антисемитизма в Советском Союзе [37].

Неравнодушная позиция американского общества стала одним из факторов, способствовавших тому, что в 1970-е гг. советские евреи все-таки получили ограниченные возможности выезда из страны. Это отмечала и американская пресса. Обозреватель «Нью-Йорк таймс» Дж. Олбрайт, подчеркивая степень влияния «еврейского лобби» на американскую внешнюю политику, в буквальном смысле восклицал: «Экстраординарным является то, что моральная позиция этнического меньшинства, представляющего 3% населения США, сумела заставить другую страну изменить свои решения. Особенно, если учесть, что этой страной является Советский Союз!» [5].

В этих словах была изрядная толика преувеличения. На действия советского руководства влияла не позиция «еврейского лобби» и не организуемые им митинги или демонстрации. На все это Кремль смотрел «сквозь пальцы», видя в такой «буффонаде» стремление Белого дома отвлечь американцев от решения их повседневных проблем (именно так формировала повестку дня советская пропаганда). Но для Москвы было важно придать легитимность вопросу еврейской репатриации. Это давало ей возможность сформировать равные экономические отношения между СССР и США, в первую очередь для решения своих внешнеполитических задач. Несмотря на внешнее игнорирование своей ответственности за развитие гонки вооружений, Кремль активно стремился придать себе «хорошее лицо», понимая, что это будет иметь значение в ходе дальнейших переговоров с западными партнерами. Решение «еврейского вопроса» действительно помогло советскому руководству тех лет создать видимость прорыва в сфере международных отношений.

От внимания американской прессы не ускользала двойственность позиции СССР. Поэтому на ее страницах звучали предостережения в адрес еврейской общественности вести себя осторожнее в отношениях с Советами. Обозреватель «Нью-Йорк таймс» Н. Голдман подчеркивал, что советское еврейство не должно являться для американского населения «оружием мобилизации», поскольку было бы неразумным «возлагать на него ответственность»

за всю судьбу советско-американских отношений. Хотя судьба заокеанских евреев является для Америки политически важным вопросом, продолжал далее Н. Голдман, «аморально и опасно» необдуманно ускорять его решение. Н. Голдман задавал своим читателям и откровенно провокационные вопросы. Два из них звучали так: «Что должно случиться, если русские захотят депортировать миллион евреев в Сибирь? Пойдет ли Америка воевать, чтобы защитить их?» [18]. Предполагалось, видимо, что на эти вопросы могут быть даны только отрицательные ответы. В данном случае газета анализировала не факты, а лишь предположения, что позволяет отнести такой подход к образцам американской медиапропаганды.

Мы обращаем на это внимание, чтобы подчеркнуть: стремление американской прессы того времени высветить негативные явления в жизни советского общества далеко не всегда было строго аргументированным. Нередко оно страдало эмоциональностью, что ослабляло возможности СМИ в тогдашней идеологической борьбе между двумя политическими системами.

Значительное внимание на страницах американской прессы уделялось и прошедшей в 1971 г. Брюссельской конференции по проблемам советских евреев. По мнению американских газетчиков, этот форум стал эффективным инструментом давления на советское руководство. Так, обозреватель «Лос-Анджелес таймс» М. Сигер доказывал, что как раз после этой конференции многие советские евреи получили возможности выехать из страны [49]. Также позитивно воспринималась газетой и вторая Брюссельская конференция (1976). Анализируя ее итоги, М. Сигер отмечал, что СССР могут покинуть около 750 тыс. евреев, однако многие из них «ощущают угрозу преследования» [49]. В свою очередь, другая американская газета «Чикаго трибьюн», говоря о принятии конференцией итогового документ расширяла постановку вопроса. По ее словам, в СССР требовалось снять ограничения не только на еврейскую эмиграцию, но и на «повседневную практику иудаизма» [53].

Читая эти и им подобные высказывания, нельзя не признать, что американские издания вновь выглядели не очень убедительными источниками информации. Так, обращает на себя назидательность тона «Чикаго трибьюн». Что же касается «Лос-Анджелес таймс», то приведенная цифра в 750 тыс. чел. не была подкреплена официальной статистикой. Очевидно, что, повторяя уже знакомые речевые обороты, газета стремилась еще раз закрепить свою позицию в сознании читателей.

Голос ведущих американских медиа, представлявших политический истеблишмент Америки, все же вынуждал советское руководство идти на уступки. Вместе с тем стремившиеся покинуть страну евреи продолжали подвергаться ограничениям и унижениям [34]. Эта практика не прекратилась и после Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975), где присутствовала советская делегация во главе генсеком ЦК КПСС Л.И. Брежневым. Он и подписал Заключительный акт совещания, в котором признавалась ответственность всех присутствовавших стран за соблюдение прав человека. Вместе с тем даже после этого отношение СССР к потенциальным

эмигрантам и репатриантам, заявлявшим о своих намерениях, не изменилось. Американская пресса не раз сообщала о советских пограничниках, изымавших у выезжавших записные книжки с адресами родственников [23].

Масштабы и значение еврейской эмиграции из Советского Союза 1970-х гг., по мнению американских журналистов, позволяли говорить о ней как о серьезном историко-культурном феномене. Обозреватель «Нью-Йорк таймс» Л. Шеймс указывал на «высокий процент деятелей искусства и интеллектуалов», выехавших из СССР в США в 1970-е гг. По его мнению, этот социальный феномен можно было сравнить только с исходом интеллигенции из гитлеровской Германии накануне Второй мировой войны. Вместе с тем Л. Шеймс предостерегал от излишней политизации при восприятии этого явления. Несмотря на то, что отъезжавших из СССР, по его словам, можно называть «политическими беженцами», многие из них не вправе были «именоваться диссидентами» [45].

Некоторые из интеллектуалов, покинувших страну, заявляли о том, что их выбор был продиктован неприятием существовавшего в СССР политического режима. Однако если обратиться к анализу психологических и политических установок многих «рядовых» эмигрантов из СССР, то картина выглядит более противоречивой. Интервью, взятые американскими СМИ у бывших советских граждан, свидетельствовали о том, что мало кто из опрашиваемых имел четкие антисоветские взгляды. Зато принадлежность к еврейству становилась важнейшим фактором, «выталкивающим» их из страны. Выехавшая из Советского Союза в 1976 г. виолончелистка Н. Бейлина признавалась: «Моя карьера шла все хуже и хуже, т.к. они начали двигать русских, а не евреев» [25]. Ведущие американские газеты регулярно обращались к проблеме антисемитизма в СССР. Так, «Лос-Анджелес таймс», освещая выступление в США супруги известного еврейского активиста Н. Щаранского, ссылалась на ее личную историю об унижениях, которым она подвергалась. При этом американская газета даже заявляла, что подобные факты создают почву для повторения в Советском Союзе трагедии Холокоста [49].

Наряду с проявлениями в СССР антисемитизма эмигранты указывали и на другие причины, заставившие их покинуть Советский Союз. Многие из них утверждали, что в брежневском СССР они не имели необходимых условий для творческой деятельности. «Я думала о своем сыне – чтобы он мог делать то, что хочет» [25], – отмечала та же Н. Бейлина. Как видим, заданные советской властью жесткие рамки, в которых оказывались творческие люди, устраивали далеко не всех. Сложившаяся атмосфера полной личной подотчетности государственной системе становилась для некоторых представителей советской интеллигенции дополнительным аргументом в пользу выезда из страны.

Так или иначе, но эмигрантский поток продолжал расти. Сразу несколько ведущих американских газет отметили, что март 1979 г. стал рекордным по числу покинувших СССР евреев [19]. По мнению обозревателя «Нью-Йорк таймс» Б. Гвертцмана, это было также связано со стремлением советского руководства улучшить отношения с Западом. Как уже отмечалось, советские ев-

реи во многом являлись «разменными фигурами» в отношениях между двумя противоборствующими сторонами в лице СССР и США. Именно в общеисторическом контексте этого времени становятся понятными подъемы и спады еврейской эмиграции из Советского Союза [46].

В 1979 г. ожидались ратификация Сенатом США договора об ОСВ-2 и встреча президента США Дж. Картера с Л.И. Брежневым. По мнению того же Б. Гвертцмана, в преддверии этих событий «русские хотели улучшить атмосферу» советско-американских отношений и поэтому не стали препятствовать выезду евреев из СССР [19]. В свою очередь, и в политической элите США на тот момент были сторонники нормализации советско-американских отношений, которые выступали, в частности, за отмену известной поправки Джэксона-Вэника, предусматривавшей ограничения на экономическое взаимодействие между странами [20].

Позитивный подход к развитию советско-американских отношений время от времени присутствовал и в прессе США, что свидетельствовало о том, что она в эти годы не была лишь орудием пропаганды против СССР (что тогда в угоду политическому моменту отмечали нередко советские СМИ). Другое дело, что, воспринимая с позицией сегодняшнего дня эти оценки, нельзя не обнаружить их определенный дилетантизм. Отражением такого во многом иллюзорного восприятия советско-американских отношений стала статья Н. Голдмана, появившаяся на страницах «Нью-Йорк таймс», и в которой автор доказывал, что в Советском Союзе этнические меньшинства имели право на определенную автономию, могли сохранять свой язык, литературу, театр и т.д. При этом Н. Голдман отвергал тезис о том, что в СССР невозможно дальнейшее существование еврейского народа. «Еврейский образ жизни возможен, – отмечал он – даже в условиях коммунистического режима». Заявляя, что правление Л.И. Брежнева «менее брутально», чем сталинское, американский журналист подчеркивал: «Мы имеем дело с государством, которое находится на пути либерализации» [18]. Тем самым Н. Голдман убеждал политическую элиту США в необходимости идти навстречу руководству СССР.

Однако, как показывает анализ американской прессы, в США все-таки преобладали сторонники иной точки зрения. В частности, обозреватель «Крисчен сайнс монитор» У. Морехаус полагал, что некоторая либерализация в вопросе о выдаче разрешений на выезд, осуществляемая руководством СССР, является лишь «трюком», связанным с ратификацией Сенатом США договора об ОСВ-2 [32]. При этом У. Морехаус не верил в искренность намерений советского руководства.

Уже через полгода стало очевидно, что надежды на нормализацию советско-американских отношений, действительно, оказались беспочвенными. Ввод советских войск в Афганистан привел к новому всплеску международной напряженности, жертвами которой стали советские евреи. Публикации в американской прессе, относящиеся к началу 1980-х гг., фиксировали резкое сокращение эмиграционного потока из СССР. Как указывал в интервью «Нью-Йорк таймс» один из руководителей Всемирной сионистской организации

А. Дульцин, советские власти ужесточили саму процедуру получения разрешения на выезд. Они стали требовать, чтобы только близкие родственники подписывали приглашения в Израиль. Ранее допускались и подписи дальних родственников, а иногда, указывал А. Дульцин, «можно было использовать и тех, кто имел такую же фамилию» [6].

При этом дискуссионным оставался вопрос о том, когда СССР начал вводить ограничения на эмиграцию. По мнению А. Дульцина, спад числа уезжавших из СССР начался в декабре 1979 г. «Мы думали, – отмечал он, – что это, возможно, было связано с праздниками» [6]. Однако в первой половине 1980 г. поток выезжавших из СССР по-прежнему продолжал снижаться. Тем не менее, декабрь 1979 г., еще раз повторимся, позволяет связать эту тенденцию с вводом советских войск в Афганистан. Между тем в американской прессе можно было встретить и иные точки отсчета самого процесса. Так, по мнению директора Ассоциации еврейских групп М. Шинбаум, СССР начал вводить ограничения на эмиграцию еще в мае 1979 г. [15]. С этой точкой зрения солидарны и сотрудники посольства Израиля в Вашингтоне [31].

В любом случае, рубеж 1970-х – 1980-х гг. стал временем резкого ограничения еврейской эмиграции из СССР. Это является доказательством того, что данная политика может быть понята только в контексте «разрядки» в международных отношениях. Конец этой эпохи привел к тому, что выезд евреев из СССР упал до показателей середины 1960-х гг. Лишь в условиях «перестройки» М. С. Горбачева, когда «железный занавес» между двумя политическими системами был снят, этот процесс получил новый импульс развития.

Рубеж 1960-х – начала 1970-х гг. стал временем сионистской активности. Несмотря на все препятствия со стороны советских властей, приверженцы идеи о том, что евреи должны жить именно в Израиле, стремились уехать на Землю обетованную. Однако после того, как под давлением мирового сообщества Советский Союз пошел на ограниченную либерализацию эмиграционного режима, ситуация начала меняться. Уже в середине 1970-х гг. все больше евреев стали уезжать не в Израиль, а в США.

Этот «крен» наиболее болезненно воспринимался внутри израильского общества. На страницах русскоязычных израильских журналов велась полемика по вопросу о том, какие причины заставляли евреев предпочесть США Израилю [3. С. 126]. Американская пресса также не могла пройти мимо этого явления. Указывая, что в 1976 г. в Израиль прибыло менее 20 тыс. чел. из СССР, обозреватель «Лос-Анджелес таймс» Д. Торгерсон объяснял это сложной экономической ситуацией в Израиле. По его мнению, после энергетического кризиса 1973 г. ситуация в стране резко ухудшилась и при росте цен реальные доходы населения падали. В этих экономических условиях, писал Д. Торгерсон, Израиль сейчас «не лучшее, но, возможно, худшее из всех мест, куда желали бы уехать иммигранты» [52]. Аналогичное мнение высказывал уже упомянутый обозреватель «Нью-Йорк таймс» Н. Голдман: «Пока Израиль не знает мира и его экономическая ситуация не устойчива, страна не способна обустроить сотни тысяч эмигрантов – даже если предположить, что она хочет

этого» [18]. Единственной надеждой Израиля в данной ситуации становились идейные сионисты, но среди выезжавших из Советского Союза их было не так много.

Надежды той части израильского общества, которая рассчитывала на массовый приток репатриантов из СССР, не оправдались. Как отмечал в 1978 г. обозреватель «Нью-Йорк таймс» П. Хофман, лишь около половины евреев, выехавших из СССР, действительно, направились в Израиль [21]. Годом спустя П. Хофман оказался еще пессимистичнее, заявив, что около 70 проц. евреев из СССР не хотели ехать в Израиль [22]. Журналист пытался понять причину этого. Выяснилось, что информация от ранее уехавших в Израиль репатриантов часто была негативной. Страна не готова к массовой абсорбции – таков был вывод данной статьи.

В самом Израиле причины данной ситуации оценивались иначе. Многие еврейские активисты, уехавшие из СССР на рубеже 1960-х – 1970-х гг., на волне подъема национального самосознания, были возмущены выбором, который делали новые эмигранты. Один из таких активистов, А. Лернер, попросту называл «дезертирами» тех, кто предпочитал США Израилю. Он предлагал перенести лагерь для выезжающих из Советского Союза из Рима в Хайфу [14]. Раздавались призывы отменить поддержку со стороны международных организаций тем евреям, которые не хотели ехать в Израиль.

В свою очередь, сам Израиль возлагал вину на США за то, что, пользуясь своими финансовыми возможностями, эта страна, по существу, переманивала к себе евреев из СССР. Представляется, что в подобных суждениях было немало наносного. Многие представители советского еврейства предпочитали Америку потому, что, во-первых, они не очень хотели вникать в суть сионистских идей, видя их для себя не очень нужными, далекими от их предшествующей жизни. С другой стороны, они полагали, что США в социальном отношении являются более благополучной страной по сравнению с Израилем, и именно там можно надеяться на благополучную жизнь не только для себя, но и для детей и внуков. Израиль, в свою очередь, возлагал именно на США вину за то, что СССР, начиная с 1979 г., резко ограничил поток эмигрантов. Как отмечал обозреватель «Чикаго трибьюн» Дж. Маклин, США во время переговоров с СССР постоянно проявляли неуступчивость, что и обусловило общий рост числа отказов в праве на выезд со стороны советских властей [31].

Неприятие Израилем позиции США в отношении вопроса еврейской эмиграции стало усиливаться во второй половине 1970-х гг. Тогда власти Израиля стали в буквальном смысле требовать от американских еврейских организаций прекратить помощь тем, кто уезжал в США. В прессе сообщалось о деятельности специальной американо-израильской комиссии, обсуждавшей эти вопросы. По данным «Лос-Анджелес таймс», Конгресс США, начиная с 1972 г., ежегодно выделял 30−50 млн долларов на организацию помощи эмигрантам из СССР [27]. Как показывали материалы ведущих американских газет, выбор, который делали советские евреи в пользу США, действительно становился серьезной международной проблемой, обострявшей общую напряженность в международных отношениях эпохи «разрядки».

Первые трудности возникали у советских эмигрантов еще до того, как они вступали на американскую землю. Предпочтя Соединенные Штаты Израилю, они затем месяцами вынуждены были ждать въездную американскую визу, почти не имея заработка и живя в чрезвычайно скромных условиях. Уже в Европе у некоторых начиналось разочарование в западных ценностях, еще недавно возводимых на пьедестал. Один из этих людей так охарактеризовал свое настроение в интервью журналисту «Нью-Йорк таймс»: «Мы думали, что нам будет лучше на Западе. Но наши страдания продолжаются. Мы имеем здесь больше неприятностей, чем в России» [48]. Правда, были и иные мнения. Признавая в разговоре, как психологически непросто было дожидаться въездной визы в США, писательница Белла Дижур, мать всемирно известного скульптора Э. Неизвестного, говорила так: «Неизвестность в буквальном смысле охватывала всю меня. Но я понимала, что пути назад попросту нет. Не только потому, что меня ждал в Америке сын, но еще и по причине того, что все пути назад, образно говоря, были сожжены. И это заставляло думать рационально»[1].

Рано или поздно, но это нередко долгое ожидание все же завершалось, и советские эмигранты оказывались на американской земле. Даже в самое первое время после приезда они не оставались в одиночестве. Обозреватель «Лос-Анджелес таймс» Л. Беннет в 1979 г. в своей статье рассказывал о том, как США помогают уехавшим из СССР [9]. Основное внимание он уделил рассмотрению деятельности Еврейского общества помощи иммигрантам (HIAS – Hebrew Immigrant Aid Society). Вместе с такими организациями, как Совет еврейской федерации (Jewish Federation Council) и Служба по делам еврейской семьи (Jewish Family Service), это Общество помогало вновь приехавшим иммигрантам.

Очевидно, что помощь от еврейских организаций США легче было получить в больших городах, что и приводило к неравномерному заселению этой страны со стороны бывших советских граждан. Наибольшее число этих иммигрантов оказалось в то время в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Что касается последнего, то корреспондент «Лос-Анджелес таймс» Л. Стаммер отмечал, что многие из них поселились в Беверли-Фарфакс – еврейском районе этого города. На авеню Ла-Бреа в этом же районе даже появилась «русская синагога». На бульваре Санта-Моника стало собираться так много бывших советских евреев, что находившийся там Плуммер-парк начали даже именовать «Московской площадью». На авеню Вест-Пико открылся магазин деликатесов, принадлежавший одесской семье. Л. Стаммер не преминул отметить, что там можно было купить воблу [50].

Бытовая сторона вопроса особенно интересовала американскую прессу. Исследованные нами газеты много писали о вкусах вновь прибывших, их образе жизни, пристрастиях и увлечениях. Характерной особенностью таких публикаций стала подача информации через конкретных людей, что усиливало эмоциональное воздействие печатного слова. При этом, как уже отмечалось, американская печать довольно быстро обратила внимание на специфическую

[1] Из беседы Б. Дижур с Д.Л. Стровским 26 сентября1996 г. (г. Нью-Йорк, США).

особенность советских иммигрантов: большое их число относилось к представителям интеллигенции. Наплыв советских музыкантов в 1970-е гг. можно было сравнить разве что с эпохой 1920–1930-х гг., когда в концертных залах США блистали С. Рахманинов, С. Прокофьев, С. Кусевицкий и др. Внимание американских журналистов, кроме того, привлекали деятели искусства, получившие международную известность еще в Советском Союзе. Такие из них, как, например, В. Ашкенази, и в эмиграции сохраняли высокий профессиональный статус. Их приглашали выступать в наиболее престижных театрах и концертных залах Америки и Европы [39].

Однако менее известным деятелям советского искусства добиться успеха на Западе было гораздо сложнее. Живя в Советском Союзе, они нередко сетовали в приватных разговорах на ограниченность их творческих возможностей, однако за океаном, как выяснилось, этих людей тоже никто не встречал с распростертыми объятиями. Талантливые выпускники Московской и Ленинградской консерваторий, подававшие в СССР большие надежды и годами добивавшиеся права выехать из страны по израильской визе, в США попросту не могли найти работу. «Нью-Йорк таймс» приводила пример одного из таких музыкантов, в итоге ставшего рассыльным в американском банке [25]. В свою очередь, журналист «Лос-Анджелес таймс» Л. Стаммер рассказывал о советских пианистах, которые, живя в Америке, были вынуждены работать на продуктовых складах [50].

И таких историй в тогдашних американских СМИ публиковалось немало. Им было присуще отсутствие морализаторства и излишних эмоций. Констатировались факты, но, как правило, без слезного отношения к ним со стороны пишущих. Дескать, вот история, а вот еще одна; выводы же из них делайте сами, уважаемые читатели. Это существенным образом отличало описательный подход, предлагаемый американской прессой, от тенденций, которые были характерны для советской прессы.

Пытаясь проанализировать причины ситуации, связанной с представителями советского исполнительского искусства, американские журналисты выделяли целый ряд факторов. Некоторые из них были связаны с особенностями творчества выехавших из Советского Союза деятелей искусства. Воспитанные в традициях классической русской и советской музыкальной культуры, они, по мнению «Нью-Йорк таймс», «концентрировались на культуре XIX века» и были укоренены в прошлом «гораздо больше, чем американцы» [50]. Это и приводило к ограниченному интересу к таким музыкальным вкусам со стороны американской публики. Вместе с тем далеко не все деятели искусства были готовы учитывать запросы зарубежной аудитории, что усиливало их частый внутренний конфликт с окружающим миром.

Эта изначальная нестыковка между вкусами выступавших и зрителей, впрочем, подчас давала совсем иные результаты. В 1979 г. группа музыкантов во главе с Л. Гозманом (бывшим директором Ленинградского камерного оркестра, уехавшим из СССР двумя годами ранее) создала Советский музыкальный оркестр. Его участники открыто заявляли, что их главная цель – со-

хранить все лучшее, что было в русской музыкальной культуре. При этом, понимая, что название оркестра небесспорно для американской публики, Л. Гозман подчеркивал: «Речь идет о чисто музыкальной традиции. Это не имеет ничего общего с политикой» [24]. В 1979 г. в Карнеги-холле Л. Гозман организовал даже Фестиваль музыки советских эмигрантов, который также освещался американскими СМИ.

На общем фоне наиболее чувствительным для советских эмигрантов стал фактор, связанный отнюдь не с содержательными аспектами творчества. Главной проблемой для них оставался английский язык. Далеко не все советские люди, приехавшие в США, сносно владели им. Даже общаясь на бытовом уровне, они далеко не всегда могли конкурировать с родившимися в США коллегами. Кроме того, приехавшим из Советского Союза музыкантам было очень трудно привыкнуть к той коммерциализации, которая пронизывала американскую культуру. Так, оказавшийся в США в 1974 г. А. Ровнер – редактор известного журнала «Гнозис», специализировавшегося на проблемах литературы и искусства – заметил в одном из интервью: «Существует множество способов, чтобы угнетать литературу. Меня цензурирует коммерция». Однажды А. Ровнер решил составить антологию произведений эмигрантской литературы. Он выиграл грант, вложил также большую сумму своих денег, привлек более сотни авторов. Издать, однако, удалось только русскоязычную версию антологии, после этого закончились деньги. Уже готовая англоязычная версия осталась неизданной. «Я чувствую себя истощенным», – замечал в интервью газете «Нью-Йорк таймс» А. Ровнер [45].

Впрочем, некоторые товарищи А. Ровнера сами осознавали тот факт, что деятелям нонконформистского искусства объективно крайне трудно было адаптироваться к условиям жизни и творчества в США. Приехавший в Нью-Йорк в 1975 г. А. Косолапов, который вынужден был в эмиграции работать уборщиком, ухаживать за детьми и т.д., замечал: «Меня не принимала коммунистическая система. Почему меня должен принимать капиталистический рынок? Я не кажусь очень коммуникабельным человеком. Однако, я рассматриваю искусство не как карьеру, а как образ жизни» [45].

Для того, чтобы добиться успеха в США, нужно было иметь хорошего продюсера, который бы ориентировался на американском рынке произведений искусства. При отсутствии такого человека новый эмигрант из СССР, приехавший сюда, оказывался в тяжелейшем положении. Он вынужден был сам, не зная местных условий, пробиваться «в люди», занимаясь тем, чего в Советском Союзе никогда не делал. Уже упоминавшийся А. Ровнер восклицал: «Я не знаю, как продавать. Я знаю, как писать, как переводить, как организовать публикацию. Но откуда брать деньги? Это что-то, чего мы никогда не изучали в России» [45].

Именно это оказывалось наиболее сложным испытанием для советской элиты, о чем они, не сговариваясь, рассказывали в интервью американским СМИ. Так, уже упоминавшаяся виолончелистка Н. Бейлина признавалась: «Здесь Вы должны решать все очень быстро. Я здесь как ребенок». Ее коллега

И. Абезгауз, уехавший из СССР в 1976 г., подчеркивал, что в Советском Союзе музыканту не приходилось принимать так много решений: «В СССР главная цель – выиграть конкурс. Если Вы это сделали, все остальное за Вас решат. Здесь же приходится думать от пятницы до пятницы». Сам И. Абезгауз смог добиться достаточно прочного положения в Америке. В течение шести сезонов он был виолончелистом симфонического оркестра штата Нью-Джерси, затем дирижером аналогичного оркестра в Вестчестер-каунти. Но в ходе накопления этого опыта И. Абезгауз все более осознавал, насколько неоднозначны критерии творческого успеха в США: «В этой стране так много способов определения успеха. Вы можете думать, что добились успеха, если научились играть концерт, или <…> если Вы должны играть этот концерт в Карнеги-холле. Для меня успех – это быть дирижером» [45].

Некоторые эмигранты быстро поняли законы американского рынка. В отличие от Л. Гозмана и его товарищей они не собирались отстаивать традиции русской и советской музыкальной культуры. Эти люди столь успешно интегрировались в американское общество, что уже и не вспоминали о Родине. Оперный певец Миша Райцин, спев в 1979 г. в США в опере «Борис Годунов», заметил в интервью «Чикаго трибьюн»: «Сейчас я чувствую, что я здесь родился. Я никогда не думаю о России» [34].

Безусловно, среди еврейских иммигрантов 1970-х гг. были отнюдь не только деятели культуры. «Нью-Йорк таймс» писала, например, о судьбе бывшего советского пилота М. Шабетаева, который, прожив два года в США на «велфэре» (пособии по безработице), продолжал активно бороться за право работать по специальности [35]. Имевшие советское образование врачи (в первую очередь дантисты), строители и инженеры в целом «успешно адаптировались к американскому образу жизни». Вместе с тем американская пресса отмечала и те трудности, с которыми сталкивались многие представители этой группы. К их числу относились и утвердившийся здесь образ жизни, и многообразие американской культуры в целом, где было очень непросто «затвердить» свою нишу [50]. В ментальном отношении советские люди сильно отличались от большинства американцев, что нередко порождало непонимание и конфликты между теми и другими.

Необычной казалась многим «русским» и постоянная привычка американцев улыбаться – на работе, в общественных местах, в разговорах с друзьями. Приехавший из СССР Л. Привороцкий говорил по этому поводу в интервью «Лос-Анджелес таймс»: «Если кто-то улыбается мне, я думал, что он действительно хочет мне помочь. Но это лишь привычка американцев, которая не означает, что они любят тебя» [50].

Особенно тяжело приходилось людям старшего поколения, ощущавшим изолированность и одиночество в новом обществе. Л. Стаммер замечал: «В то время как дети и внуки, работая и учась, «становятся американцами», многие старики остаются в своих квартирах и считают часы. <…> Они не могут слушать радио, читать газеты, смотреть телевидение, и это приводит многих в состояние депрессии» [50]. Депрессия сопровождала в 1960–1970-е гг. тысячи

бывших советских людей. Это во многом определялось их географической и политической удаленностью от своей первой родины.

Однако, как свидетельствуют материалы прессы, и американцы были удивлены некоторыми особенностями, отличавшими советских евреев. Первоначально их воспринимали едва ли не как «святых мучеников», жертв советского тоталитаризма. Но быстро выяснилось, что многие из приехавших совсем иные люди. В СССР обман государства воспринимался чуть ли не как нормальное поведение человека. Некоторые еврейские эмигранты, переехавшие жить в Америку, начали заниматься мошенничеством, совершать преступления, используя «лазейки» в законодательстве. «Им не стыдно обманывать кого-то» [50], – с удивлением констатировали американцы.

Как видим, своеобразный культурный шок ощутили обе стороны. Советских иммигрантов и американцев разделяли «мифы и стереотипы друг о друге», что вело к «недопониманию» и даже «к антагонизму» [50]. В этом плане характерно письмо в редакцию «Нью-Йорк таймс», написанное жившим в США с 1974 г. Д. Азбелем. Он подчеркивал, что не только у русских иммигрантов затруднено восприятие американцев, но и американцы в той же мере не готовы понять и взаимодействовать с русскими. Этот недостаток коммуникации «приводит к появлению у иммигрантов чувства изоляции» [8]. Д. Азбель написал это письмо в «Нью-Йорк таймс», прочитав на страницах этой газеты о том, что одна из еврейских семей вернулась в СССР и уже начала там критиковать американский образ жизни. Он подчеркивал: «Достаточно одной-двух вернувшихся назад семей и их рассказов о том, что жизнь в США «не столь прекрасна» и что Россия – это лучшая страна в мире, как освободительное движение в СССР будет остановлено» [8].

Постепенно в американском обществе начал складываться негативный образ советских иммигрантов 1960–1970-х гг. В свою очередь, сами иммигранты возмущались распространяемыми в США слухами о том, что под благовидным предлогом СССР забрасывает в США криминальных авторитетов. Например, в 1982 г. глава полиции Лос-Анджелеса Д. Гейтс заявлял, что в его ведомстве имелась информация о намерении руководства СССР использовать советских евреев, живших в США, для срыва Олимпиады 1984 г. В январе 1982 г. в полиции Лос-Анджелеса был составлен документ под названием «Советская эмигрантская мафия». Полицейские взяли под наблюдение около двадцати выходцев из СССР, подозреваемых в преступлениях против личности. В ответ на это местный раввин Я. Отт выступил со специальным заявлением (информация об этом появилась на страницах «Лос-Анджелес таймс»), где подчеркивал, что из этих двадцати человек только трое были евреями. Резкой критике подверг полицию Лос-Анджелеса и председатель Совета по делам советских евреев в Южной Каролине С. Фрумкин [38].

Впрочем, слухами о криминальных связях бывших советских граждан, переехавших в Америку, дело не ограничивалось. В американской прессе циркулировала информация о контактах недавних иммигрантов с советскими спецслужбами. На общем фоне стоит сослаться на статью Дж. Каммингса,

появившуюся в 1984 г. на страницах «Нью-Йорк таймс». Журналист рассказывал о разоблачении силами ФБР советских агентов Огородниковых, обосновавшихся в Америке за десять лет до этого как еврейские беженцы [11]. Такие материалы формировали негативный образ советских евреев, осевших в США, что весьма болезненно воспринималось новыми иммигрантами.

Таким образом, американская пресса не питала иллюзий по отношению к советским эмигрантам и тем более не видела в них людей, способных принести процветание своей новой стране. Она воспринимала их с осознанием неизбежности происходящего и с пониманием того, что США отныне берут на себя ответственность за их жизнь. Это не значит, что она ратовала за повседневную помощь своим новым гражданам, сама ответственность воспринималась с точки зрения обеспечения полных юридических прав вновь прибывшим эмигрантам. Это не в последнюю очередь определялось общими представлениями американцев о жизни, где каждый человек должен быть от рождения наделен необходимыми правами, но одновременно сам является кузнецом своего счастья. Одновременно следует признать, что эта логика восприятия действительности была не очень понятной советским эмигрантам, что рождало противоречия в их взаимодействии с новым для себя миром.

Заключение

Изучение того, как в американских СМИ освещалась тема еврейских эмигрантов 1960–1970-х гг., важно для понимания специфики американских медиа эпохи холодной войны. СМИ в любой стране оказываются под воздействием внешних и национальных политических реалий. В разные периоды эта зависимость информации от политического пространства вообще и системы властных приоритетов в частности может проявлять себя по-разному. Однако в любом случае данный фактор с неизбежностью влияет на качество массовой информации. Это стало реальностью и при восприятии информации, ставшей предметом нашего исследования в рамках предложенной статьи. Информация об еврейских эмигрантах из СССР разнилась в зависимости от того, как реагировал на происходящее американский политический барометр. Соответственно, наряду с выдержанными по духу публикациями в американских СМИ появлялись те, что были излишне эмоциональны и подвержены сиюминутности момента.

Однако те же самые СМИ демонстрировали многомерность восприятия «эмигрантской темы». Разнообразие контента также обнаруживалось при использовании различных жанров в развитии этой темы: от традиционных хроникальных и расширенных заметок до корреспонденций, эссе и даже очерков, дававших описания конкретных людей с вкраплениями их прямой речи. Такое многообразие содержательных и жанровых подходов делало данную тему привлекательной для аудитории. Несмотря на то, что с тех пор уже прошло почти полвека, этот опыт остается актуальным и в наше время. Он учит тщательной работе с фактами, важности понимания сущности медийной инфор-

мации, необходимости поиска привлекающих к себе внимание героев. Все это остается важным условием эффективности современных СМИ.

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ – отдел гуманитарных и общественных наук, проект № 17-21-07002-ОГН/19, тип гранта а(м), «Человек советский в амбивалентной рецепции венгерской и русской гуманитаристики XX–XXI вв.».

ЛИТЕРАТУРА

[1] *Костырченко Г.* Политика советского руководства в отношении еврейской эмиграции после XX съезда КПСС (1956–1991) // Еврейская эмиграция из России. 1881–2005. М.: РОССПЭН, 2008. С. 202–219.

[2] *Морозов Б.* Еврейская эмиграция из СССР как фактор международных отношений // «Русское» лицо Израиля: Черты социального портрета. Иерусалим-М.: Гешарим, 2007. 550 с.

[3] *Орлов Б.* Пути-дороги «римских пилигримов» // Время и мы. 1977. № 14. С. 117–130.

[4] *Фридгут Т.* Влияние иммигрантов из СССР/СНГ на израильскую идентичность // «Русское лицо Израиля: черты социального портрета. Иерусалим-Москва: Мосты культуры, 2007. С. 63–95.

[5] *Albright J.* The pact of two Henrys // The New York Times. 1975. 5 January.

[6] *Anderson R.* Jewish leader says stiffer Soviet rules cut emigration // The New York Times. 1980. 8 June.

[7] *Appelbaum P.* The Soviet Jewry Movement in the United States. New York: Greenwood Press, 1986. 340 p.

[8] *Azbel D.* Russian immigrants in the US (letters to the editor) // The New York Times. 1975. 4 January.

[9] *Bennet L.* The homeless find help in a new land // Los Angeles Times. 1979. 25 June.

[10] *Buwalda P.* They Did Not Dwell Alone. Jewish Emigration from the Soviet Union. 1967–1990.Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. 297 p.

[11] *Cummings J.* Coast case creates anxiety over spies among refugees // The New York Times. 1984. 20 October.

[12] *Deacon D., Pickering M., Golding P., Murdock G.* Researching Communication: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis. London: Arnold, 1999. 242 p.

[13] *Drachman E.* Challenging the Kremlin. The Soviet Jewish Movement for Freedom. 1967–1990. New York: Paragon House, 1992. 543 p.

[14] *Fisher D.* Soviet emigration cutback splits Jewish activists // Los Angeles Times. 1980. 18 May.

[15] *Gargan E.* Soviet Jewish emigration declined sharply in 1980 // The New York Times. 1981. 4 January.

[16] *Gartner L.* History of the Jews in Modern Times. Oxford: Oxford University Press, 2010. 468 p.

[17] *Gitelman Z., Glants M. and Goldman M.* Jewish Emigration: Trails, Achievements, Doubts and Dilemmas; Jewish Life after the USSR. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2003. 264 p.

[18] *Goldmann N.* The Hammer-and Sickle and Star of David // The New York Times. 1979. 8 January.

[19] *Gwertzman B.* Emigration of Soviet Jews in March sets record: gesture to US seen // The New York Times. 1979. 4 April.
[20] *Gwertzman B.* Linking US trade relations with the right to emigration // The New York Times. 1979. 6 April.
[21] *Hofmann P.* Flow of Soviet refugees through Vienna increases // The New York Times. 1978. 23 July.
[22] *Hofmann P.* Many Russian Jews «drop out» in Vienna // The New York Times. 1979. 12 August.
[23] *Hofmann P.* Soviet Jews charge border harassment // The New York Times. 1977. 19 January.
[24] *Horowitz J.* Music: Soviet émigrés play Mozart and Haydn // The New York Times. 1979. 16 July.
[25] *Horowitz J.* The sound of Russian music in the West // The New York Times. 1978. 11 June.
[26] *Freidman M., Chernin A.* A Second Exodus. The American Movement to Free Soviet Jews. Hanover, London: Brandies University Press, 1999. 380 p.
[27] *Johnston O.* Israel seeking to halt Soviet emigrant loss // Los Angeles Times. 1976. 9 November.
[28] *Learsi R.* Fulfillment – The Epic Story of Zionism: the Authoritative History of the Zionist Movement from the Earliest Days to the Present Time. [N.p.]: Read Books, 2007. 400 p.
[29] *Levin N.* The Jews in the Soviet Union since 1917: Paradox of Survival. Vol. 2. New York; London: New York University Press, 1988. 548 p.
[30] *Low A.* Soviet Jewry and Soviet Policy. New York: Columbia University Press, 1990. 249 p.
[31] *Maclean J.* US caught in Soviet-Israeli emigration snarl // The Chicago Tribune. 1982. 21 February.
[32] *Morehouse W.* Soviet Jews stream to US; many wonder: will it last? // Christian Science Monitor. 1979. 26 April.
[33] *Morozov B.* Documents on Soviet Jewish Emigration. London: Psychology Press, 1999.
[34] *Oppenhiem C.* Soviet expatriates find living in US different from a visit // Chicago Tribune. 1979. 13 September.
[35] *Parisi A.* For Russian immigrant the Sky`s still in limit // The New York Times. 1982. 25 July.
[36] *Peri Y.* Telepopulism. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004. 384 p.
[37] *Peterson I.* Soviet Jew who got out after 11 years tells how difficult it was // The New York Times. 1969. 6 December.
[38] *Reich K.* Gates, Jews Make Peace on Emigrants // Los Angeles Times. 1982. 25 January.
[39] *Rockwell J.* Ashkenazy puts precision over showmanship // The New York Times. 1978. 14 May.
[40] *Rockwell J.* Rostropovich – «I feel like a native» // The New York Times. 1981. 18 January.
[41] *Romano A.* A Historic Atlas of Israel. [N.p.]: The Rosen Publishing Group, 2003. 410 p.
[42] *Rosenzweig R.* The Economic Consequences of Zionism. Cambrige: T Brill Academic Publishers, 1997. 310 p.
[43] *Salitan L. R.* Politics and Nationality in Contemporary Soviet-Jewish Emigration. 1968–1989. London: St. Martin`s Press, 1992. 180 p.
[44] *Seeger M.* Parley on Soviet Jews ends on Upbeat // Los Angeles Times. 1976. 20 February.
[45] *Shames L.* For many soviet artists in exile, these are lean times // The New York Times. 1982. 3 October.
[46] *Shindler C.* Exit Visa. Détente, hunan rights and the Jewish emigration movement in the USSR. London: Bachman and Turner, 1978. 291 p.
[47] *Schroeter L.* The Last Exodus. New York: Universe Book, 1974. 432 p.
[48] *Shuster A.* US speeding entry of Soviet Jews in Italy // The New York Times. 1979. 30 January.
[49] *Siegel B.* A Jew`s plight: from Russia with fear // Los Angeles Times. 1977. 31 March.

[50] *Stammer L.* Soviet Jews find L. A. frustrating, challenging // Los Angeles Times. 1981. 28 June.
[51] *Stein L.* The Hope Fulfilled: The Rise of Modern Israel. New York: Greenwood Press, 2003. 288 p.
[52] *Torgerson D.* Immigration patterns changing for Israelis // Los Angeles Times. 1976. 13 December.
[53] *Yuenger J.* Conference on Soviet Jews ends; future looks cloudy // The Chicago Tribune. 1976. 22 February

REFERENCES

[1] Kostyrchenko G. *Politika sovetskogo rukovodstva v otnoshenii evreiskoy emigratsii posle XX s'ezda KPSS [Soviet policy toward Jewish emigration after the XX Congress of CPSU](1956–1991*) // *Evreiskaya emigratsia is Rossii. 1881–2005.* Moscow: ROSSPEN Publ., 2008 (in Russian).
[2] Morozov B. Evreiskaya emigratsia iz SSSR kak factor mezhdunarodnyh otnosheniy // *'Russkoe' litso Izrailia: cherty sotsialnogo portreta [Russian face of Israel: characteristics of social portrait]*. Ierusalim; Moscow: Gesharim Publ., 2007 (in Russian).
[3] Orlov B. Puti-dorogi rimskih piligrimov [ways of Roman pilgrimes] // *Vremya i My. 1977. №* 14. P. 117–130 (in Russian).
[4] Fridgut T. *Vliyaniye immigrantov iz SSSR/SNG na izrail'skuyu identichnost' [Influence of USSR-CIS immigrants on Israeli identity*] // *Russkoye litso Izrailya: cherty sotsial'nogo portreta*. Iyerusalim; Moskva: Mosty kul'tury Publ., 2007 (in Russian).
[5] Albright J. *The pact of two Henrys* // *The New York Times*, January 5, 1975.
[6] Anderson R. *Jewish leader says stiffer Soviet rules cut emigration* // *The New York Times*, June 8, 1980.
[7] Appelbaum P. *The Soviet Jewry movement in the United States*. New York: Greenwood Press Publ., 1986.
[8] Azbel D. *Russian immigrants in the US (letters to the editor*) // *The New York Times,* January 4, 1975.
[9] Bennet L. *The homeless find help in a new land* // *Los Angeles Times*, June 25, 1979.
[10] Buwalda P. *They Did Not Dwell Alone. Jewish Emigration from the Soviet Union. 1967–1990*. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. 297 p.
[11] Cummings J. *Coast case creates anxiety over spies among refugees* // *The New York Times*, October 20, 1984.
[12] Deacon D., Pickering M., Golding P., Murdock G. *Researching Communication: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis.* London: Arnold, 1999. 242 p.
[13] Drachman, E. *Challenging the Kremlin. The Soviet Jewish Movement for Freedom. 1967–1990*. New York: Paragon House Publ., 1992.
[14] Fisher D. *Soviet emigration cutback splits Jewish activists* // *Los Angeles Times,* May 18, 1980.
[15] Gargan E. *Soviet Jewish emigration declined sharply in 1980* // *The New York Times*, January 4, 1981.
[16] Gartner L. *History of the Jews in Modern Times*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
[17] Gitelman, Z., Glants, M., and Goldman, M. *Jewish Emigration: Trails, Achievements, Doubts and Dilemmas; Jewish Life after the USSR*. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2003.

[18] Goldmann N. The Hammer-and Sickle and Star of David // *The New York Times*, January 8, 1979.
[19] Gwertzman B. Emigration of Soviet Jews in March sets record: gesture to US seen // *The New York Times*, April 4, 1979.
[20] Gwertzman B. Linking US trade relations with the right to emigration // *The New York Times,* April 6, 1979.
[21] Hofmann P. Flow of Soviet refugees through Vienna increases // *The New York Times*, July 23, 1978.
[22] Hofmann P. Many Russian Jews 'drop out' in Vienna // *The New York Times*, August 12, 1979.
[23] Hofmann P. Soviet Jews charge border harassment // *The New York Times*, January 19, 1977.
[24] Horowitz J. Music: Soviet émigrés play Mozart and Haydn // *The New York Times*, July 16, 1979.
[25] Horowitz J. The sound of Russian music in the West // *The New York Times*, June 11, 1978.
[26] Freidman M., Chernin, A. *A Second Exodus. The American Movement to Free Soviet Jews*. London: Brandies University Press Publ., 1999.
[27] Johnston O. Israel seeking to halt Soviet emigrant loss // *Los Angeles Times*, November 9, 1976.
[28] Learsi R. *Fulfillment – The Epic Story of Zionism: the Authoritative History of the Zionist Movement from the Earliest Days to the Present Time*. [N.p.]: Read Books Publ., 2007.
[29] Levin N. *The Jews in the Soviet Union since 1917: Paradox of Survival*. New York; London: New York University Press, 1988.
[30] Low A. *Soviet Jewry and Soviet Policy*. New York: Columbia University Press, 1990. 249 p.
[31] Maclean J. *US caught in Soviet-Israeli emigration snarl* // *The Chicago Tribune*, February 21, 1982.
[32] Morehouse W. *Soviet Jews stream to US; many wonder: will it last?* // *Christian Science Monitor*, April 26, 1979.
[33] Morozov B. *Documents on Soviet Jewish Emigration*. Londone: Psychology Press, 1999.
[34] Oppenheim C. *Soviet expatriates find living in US different from a visit // The Chicago Tribune*, September 13, 1979.
[35] Parisi A. *For Russian immigrant the Sky`s still in limit* // *The New York Times*, July 25, 1982.
[36] Peri Y. *Telepopulism*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004.
[37] Peterson I. Soviet Jew who got out after 11 years tells how difficult it was // *The New York Times*, December 6, 1969.
[38] Reich K. Gates, Jews make peace on emigrants // *Los Angeles Times*, January 25, 1982.
[39] Rockwell J. Ashkenazy puts precision over showmanship // *The New York Times*, May 14, 1978.
[40] Rockwell J. Rostropovich – 'I feel like a native' // *The New York Times*, January 18, 1981.
[41] Romano A. *A aistoric atlas of Israel*. [N.p.]: The Rosen Publishing Group Publ., 2003.
[42] Rosenzweig R. *The Economic Consequences of Zionism*. Cambrige: T Brill Academic Publishers, 1997.
[43] Salitan L.R. *Politics and Nationality in Contemporary Soviet-Jewish Emigration. 1968–1989*. London: St. Martin`s Press, 1992.
[44] Seeger M. Parley on Soviet Jews ends on Upbeat // *Los Angeles Times*, February 20, 1976.
[45] Shames L. For many soviet artists in exile, these are lean times // *The New York Times*, October 3, 1982.
[46] Shindler C. *Exit Visa. Détente, human rights and the Jewish emigration movement in the USSR*. London: Bachman and Turner Publ., 1978.
[47] Schroeter L. *The Last Exodus*. New York: Universe Book Publ., 1974.
[48] Shuster A. US speeding entry of Soviet Jews in Italy // *The New York Times*, January 30, 1979.

[49] Siegel B. A Jew`s plight: from Russia with fear // *Los Angeles Times*, March 31, 1977.
[50] Stammer L. Soviet Jews find L. A. frustrating, challenging // *Los Angeles Times*, June 28, 1981.
[51] Stein L. *The hope fulfilled: The rise of modern Israel*. New York: Greenwood Press, 2003.
[52] Torgerson D. Immigration patterns changing for Israelis // *Los Angeles Times*, December 13, 1976.
[53] Yuenger J. Conference on Soviet Jews ends; future looks cloudy // *The Chicago Tribune* (February 22, 1976).

Research article

Emigration of Jews from the Soviet Union in the 1960–1970s through the eyes of the American press

Alexey V. Antoshin

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
19 Mira Ave., Yekaterinburg, 620003, Russia

Dmitry L. Strovsky

Ariel University
1 Kiryat Hamada, Ariel, 40700, Israel

The article analyzes the features of Soviet emigration and repatriation in the second half of the 1960s through the early 1970s, when for the first time after a long period of time, and as a result of political agreements between the USSR and the USA, hundreds of thousands of Soviet Jews were able to leave the Soviet Union for good and settle in the United States and Israel. Our attention is focused not only on the history of this issue and the overall political situation of that time, but mainly on the peculiarities of this issue coverage by the leading American printed media.

The reference to the media as the main empirical source of this study allows not only perceiving the topic of emigration and repatriation in more detail, but also seeing the regularities of the political 'face' of the American press of that time. This study enables us to expand the usual framework of knowledge of emigration against the background of its historical and cultural development in the 20th century.

Keywords: emigration, Soviet culture, 'refuseniks', American printed media, politicization of mass media

Информация об авторах / Information about the authors

Антошин Алексей Валерьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. E-mail: alex_antoshin@mail.ru

Стровский Дмитрий Леонидович, доктор политических наук, профессор Ариэльского Университета (Израиль). E-mail: dmitryst@ariel.ac.il, strovsky@mail.ru

Alexey V. Antoshin, Doktor istoricheskikh nauk [Dr. habil. hist.], professor at the Department of Oriental Studies of Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin. E-mail: alex_antoshin@mail.ru

Dmitry L. Strovsky, PhD in Political Sciences, Professor at Ariel University (Israel). E-mail: dmitryst@ariel.ac.il, strovsky@mail.ru

Для цитирования / For citation

Антошин А.В., Стровский Д.Л. Эмиграция евреев из Советского Союза в 1960–1970-е гг. на страницах американской прессы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2019. Т. 11. № 2. С. 136–160. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8127-2019-11-2-136-160

Antoshin A., Strovsky D. Emigration of Jews from the Soviet Union in the 1960–1970s through the eyes of the American press // Rudn Journal of World History. 2019. Vol. 11. No. 2. Pp. 136–160. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8127-2019-11-2-136-160

Рукопись поступила в редакцию / Article received: 22.04.2019

RUDN Journal of World History
Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
2019 Vol. 11 No. 2 161–171
http://journals.rudn.ru/world-history

DOI 10.22363/2312-8127-2019-11-2-161-171 Научная статья

Клановая иерархия как основа «тюльпановой революции» в Кыргызстане[2]

С.А. Воронин, Е.А. Бакина

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

В 2005 году в Киргизии произошла так называемая «тюльпановая революция». И по форме и по содержанию события разыгравшиеся в Кыргызстане полностью вписывались в концепцию протестных движений (бархатных, дынных, жасминовых и иных революций), развернувшихся в конце XX – в начале XXI века. Старт подобным «революциям», нацеленным на смену режима, был дан в 1953 году, когда в ходе государственного переворота, который курировало ЦРУ, был отстранен от власти премьер-министр Ирана Моссадык.

Анализ событий в Кыргызстане показал, что и за госпереворотом, приведшим к свержению президента Аскара Акаева, стояли внешние силы, координирующие свои усилия согласно методическим рекомендациям американского технолога политических переворотов Джина Шарпа. Однако действия извне, при всей их значимости, не стали основной причиной «тюльпановой революции», а выступили лишь в роли катализатора. На протяжении веков в Кыргызстане существовал комплекс внутренних противоречий между различными политическими группировками, ставший детонатором политического катаклизма в 2005 году. Одной из самых существенных внутренних причин политического кризиса 2005 года стала клановая конкуренция Севера и Юга в борьбе за власть.

Клановая иерархия является на протяжении столетий фундаментом политических систем Центральной Азии, не стала исключением и Киргизия. Рассмотрению механизма клановой иерархии, анализу политической конкуренции Севера и Юга, роли и значению кланов в ходе государственного переворота 2005 года и посвящена данная статья.

Ключевые слова: «тюльпановая революция», клановая иерархия, Аскар Акаев, Хан-Тенгри, киргизская мечта, ичкилик, сарабагыш

И сегодня отсутствие гражданского общества и развитые родоплеменные связи во многом определяют облик политических режимов стран Востока в целом, и Центральной Азии в частности.

Борьба за власть и конфликты в Таджикистане, Кыргызстане, Афганистане, Ливии во многом зиждутся на иерархии кланов и переделе закреплен-

© Воронин С.А., Бакина Е.А., 2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ных за ними конкурентных преимуществ. Такая мина замедленного действия, заложенная под фундамент традиционных обществ, способна в любой момент сдетонировать и взорвать социальный консенсус, отбросив общество в пучину средневековых конфликтов. О гражданской войне применимо к странам Востока, видимо, будет разумнее не упоминать, поскольку отсутствует само гражданское общество как таковое.

Можно с уверенностью утверждать, что именно клановая конкуренция стала основной причиной смещения со своего поста президента Аскара Акаева в Кыргызстане в 2005 году. Внешние силы лишь грамотно и умело использовали противостояние кланов в Киргизии и катализировали существующие противоречия, дав соответствующие установки конкурирующим политическим родоплеменным группировкам.

На Западе о целесообразности ухода А. Акаева с поста президента впервые публично объявили в 2004 году. Независимая международная организация ICG («Крайзис групп») опубликовала документ «Политический переход в Кыргызстане: проблемы и перспективы», в сущности, ультиматум Акаеву. «Международное сообщество должно сыграть ключевую роль для отстранения Акаева от власти, но до настоящего времени его реакция замедлена и плохо скоординирована... гораздо большая поддержка необходима средствам массовой информации, гражданскому обществу и различным неправительственным группам» [1. С. 459].

Спустя год посол США в Бишкеке Стивен Янг заявил: «Основное в предвыборный период – возбудить неуважение к политическому коррумпированному режиму Аскара Акаева, его пророссийской ориентации…» [2].

Однако изучению влияния внешнего фактора на события в Киргизии, направленные на демонтаж политического режима Акаева, посвящено значительное количество исследований, и его воздействие на «тюльпановую революцию», проведенную по классической методологии Дж. Шарпа, не вызывают сомнений и споров у большинства киргизских и российских историков и политологов.

Задача, целью которой и является написание данной статьи, состоит в том, чтобы выяснить фундаментальную причину, лежащую в основе политической нестабильности в Кыргызстане – клановую конкуренцию в борьбе за власть и доминирование в стране.

Как понимать переворот в Бишкеке с точки зрения родоплеменной политики? Для выяснения этого вопроса необходимо остановиться на таких вопросах, как родоплеменная структура киргизского общества, территориальный, демографический и религиозные факторы.

В ходе национально-территориального размежевания 1924–1927 гг. территория Киргизии получила форму причудливого треугольника с вершинами на востоке у горного узла Хан-Тенгри и с вогнутым основанием на Западе, горные обрамления которого охватывают Ферганскую долину, оставляя ее основную плодородную часть в границах Узбекистана и Таджикистана [3. С. 309]. Киргизия граничит с 4-мя государствами: на севере – с Узбекистаном, на вос-

токе – с КНР, на юго-западе – с Таджикистаном, на западе – с Узбекистаном. С двумя последними указанными государствами длительные переговоры по определению границ ведутся более 16 лет.

Гористый рельеф определяет территориальную неравномерность расселения. Спецификой расселения является и наличие сопредельных приферганских областей государств-соседей, демографический потенциал которых в совокупности превышает население Киргизии (6,5 млн чел.) практически в 2 раза [3. С. 309].

Население Киргизии в основном мусульмане. Однако это так называемый вариант периферийного ислама, отмечающегося неустойчивостью и легкостью перехода в другую конфессию при ослаблении давления со стороны центральной власти.

Если попытаться дать общую характеристику кыргызского общества, то его специфическими чертами будут выступать:

– клановая иерархия;

– степная модель, базирующаяся на родоплеменной структуре, институте вождизма, кочевых отношениях, военном мобилизационном факторе, тесном переплетении военной и административной систем;

– дихотомии сильной власти и слабого общества;

– политической системе, основанной на отсутствии частной собственности;

– стадиальной текучести форм социально-экономического развития;

– идеология киргизской мечты, выраженной в эпосе «Манас»;

– отсутствии монополии на власть, принадлежащей только одному роду (исторически сформировалась система, при которой род, находящейся у власти, частично делится своими преференциями с другими родами).

Степная модель присуща в структурном плане Монголии и Центральной Азии. Эволюция этносов, принадлежащих к этой модели, принципиально отличалась от территорий оседлого земледелия, как климатическими, так и социально-экономическими условиями.

В рамках степной модели земельные угодья, земля рассматривалась не в статике, а в динамике. Земля – это, прежде всего, пастбища, а не объект возделывания. В основе процветания степной модели не почва как средство для кормления людей, а травостой как средство для прокормки скота. Таким образом, у номадов Центральной Азии аграрные оседлые отношения не имели ключевого значения, привязки к территории не рождалось. А скотоводы (араты) легко меняли оскудевшие пастбища на плодородные. Отсюда и динамизм, и мобильность социально-экономических институтов.

В основе ранних форм государственности современного Кыргызстана лежала триада «правитель – знать – рядовые араты». Верховная собственность на землю в рамках системы политаризма, опирающейся на азиатский способ производства, принадлежит правителю (хану), собственность на распоряжение пастбищами (варианты кормления) – князьям (нойонам), рядовые араты имели право условного держания или пользования пастбищами при условии выполнения воинской повинности. Эволюция степной модели заключалась

в мирной миграции населения и внешней экспансии. В социально-государственном плане развитие шло по замкнутому кругу: от вождизма к монархии кочевой империи и после неизбежной стадии крушения государственности к новому повторению витка.

О.Е. Непомнин и Н.А. Иванов отмечают: «В степной модели возникновение государств, социального неравенства происходило без разрушения родоплеменных сообществ. Новые отношения не ликвидировали старые, а надстраивались над ними. Причем последние прочно опирались на нижний горизонт, по сути, фундамент более сложной структуры» [4. С. 376].

Органом управления и принятия решений в степной модели киргизов выступал съезд знати – собрание ближнего круга, знатных представителей клана, удерживающего власть (родственников хана).

Основой степной модели являлась военно-административная, мобилизационная система. Рядовой арат был сначала воином, а уже потом скотоводом. Это накладывало определенную специфику на отношения верхов и низов. Рядовой кочевник для клановой знати выступал и как подневольный труженик, и как воин, что определяло отношение, прежде всего, к его военному потенциалу и резко ограничивало уровень его эксплуатации, приводило к распространению патронажно-клиентельных отношений. Все это в целом и явилось основой отсутствия глобальных социальных противоречий и конфликтов. Рядовые номады боролись только с внешним, иноземным врагом. Но наряду с этим власть была предельно сильна, а социум крайне слаб, социально-экономическая сторона степной модели характеризуется монолитностью, полным огосударствлением. В ее рамках (причем и во времена СССР, и в независимом Кыргызстане), в сущности, не происходила смена одной формации на другую.

Вместо этого основой выступал фактор стадиальной текучести [4. С. 400], базирующийся на эволюционировавших, но не исчезавших родоплеменных и клановых отношениях.

Принадлежность к родоплеменным кланам играет значительную и во многом определяющую роль в современной политической жизни Кыргызстана. В 1990 е гг. – начале 2000-х гг. резко усилилось недовольство южных кланов Киргизии политическим курсом А. Акаева, принадлежавшего к северному клану.

В Кыргызстане существуют три основных клановых образования, именуемых «крыльями»: Онг – правое крыло; Сол – левое крыло и клан «ичкилик», своего рода центристская группа.

В «левое крыло» входят семь родов на севере и западе страны. В 1920 – начале 30-х гг. именно представители этого крыла (клан «бугу») руководили Советской Киргизией. В ходе действий репрессивного механизма в 1935–1937 гг. руководящие позиции клан «бугу» утратил и тем самым невольно способствовал возвышению другого северного рода, – сары багыш (к которому, кстати, принадлежит бывший президент Аскар Акаев. Основой правого крыла являлся один клан –Адыгине, уходящий корнями в Южный Кыргызстан.

И, наконец, ичкилик, также опирающийся на Юг, но представляющий собой конгломерат из нескольких родов, в том числе и некиргизских по своему

генезису, но считающих себя носителями истинно киргизского национального менталитета [5. С. 41]. Ядро этих некиргизских родов составляют кипчаки (родной клан конкурента А. Акаева К. Бакиева). Кипчаки – этнообразующая группа для узбеков и казахов. Она не признается населением Кыргызстана как киргизская. Они говорят на ином диалекте. «Ичкилик» не вписывается в родоплеменную структуру киргизов. С XVIII в. в рамках военно-административной системы киргизы делились на 2 крыла (левое и правое), в каждом порядка 30 племен. Ичкилик не принадлежал ни к одному из крыльев. Таким образом, и ранее и в современной Киргизии эта клановая группа занимает сепаратные позиции и в антропологическом, и в этническом плане [6. С. 142].

Сложившееся в сталинские годы доминирование северного клана во властной вертикали Киргизии сохранялось в течение всего советского периода. В рамках древней киргизской мифологии северяне позиционировали себя с точки зрения самого легитимного клана, предъявляющего властные амбиции.

Именно за ним традиционно закрепился приоритет в формировании высшего уровня власти. Как подчеркивал В.Э. Багдасарян: «В среднеазиатских республиках СССР за ширмой советской системы клановая модель сохраняла свое существование» [7. С. 153]. К примеру, длительный период с 1961 по 1985 гг. первым секретарем Киргизской ССР был Турдакун Усубалиев, представитель Севера. В своих мемуарах он пишет: «Я, Турдакун Усубалиев, являюсь одним из потомков сарыбагышского племени. По старинной народной традиции каждый взрослый кыргыз должен знать семь своих прямых предков по мужской линии, если он их не знает, то его осуждают, как не знающего своего родства. Но я знаю не только имен семерых своих прямых предков, знаю больше – всех родоначальников, от которых происходило племя Сарыбагыш» [8. С. 13].

Следует заметить, что все попытки дестабилизировать политическую обстановку в Киргизии всегда были связаны с историческим реваншем южных кланов над северными, со стремлением изменить иерархию родоплеменных группировок. Первая попытка пересмотреть сложившуюся традиционную иерархическую модель приходится на период с 1945 г. и до 1961 г., когда главой республики стал Исхак Раззаков – представитель клана ичкилик, т.е. Юга [9. С. 38].

Вторая волна клановых изменений приходится на время М.С. Горбачева. Генеральный секретарь ЦК КПСС выдвинул на пост первого секретаря Киргизской ССР А.М. Масалиева, принадлежащего к южному клану. И в 1990 г. Киргизию охватили политические волнения. Ситуация стабилизировать лишь спустя год, когда властные полномочия пришли к А. Акаеву, представлявшего род сара багыш Севера Кыргызстана.

Аскар Акаев взошел на политический Олимп на волне эйфории независимости, базирующейся на концепции «кыргызской мечты», нашедшей отражение в легендарном эпосе «Манас». Киргизы два тысячелетия мечтали о государственности и независимости. Звездный час пришелся на IX век – время так называемого киргизского возрождения.

Аскар Акаев как новый политический лидер Кыргызстана опирался на многовековые традиции и был просто обязан опираться на собственное легендарное происхождение, легитимизирующие обладание властью. Сам А. Акаев в преддверии 1000-летнего юбилея эпоса «Манас» так отвечал на вопрос о своем происхождении: «Наш род восходит к приемному сыну хана, который жил в XVI веке. Один казахский султан, спасаясь от преследователей, был вынужден перейти к кыргызам. У этого султана от кыргызской жены родился сын, который был усыновлен ханом и в последствие стал великим кыргызским ханом, от которого и пошел наш род. Меня иногда называют казахом. Но, думаю, сам Аллах не смог бы различить казаха от кыргыза» [10. С. 10].

Историком Д. Сапаралиевым было проведено специальное исследование родословной кыргызского президента. Он выяснил, что Акаев принадлежит к племени сарабагыш, которое включает в себя 4 родственных отдела:

1. Эсенгул (его возглавил легендарный манап Уметалы, сын хана Ормона);
2. Тынай (манап Жантай Карабеков, потомок Атаке-бия, отправлявшего послов к Екатерине II);
3. Черикчи (манап Турегельды Абайдуллин);
4. Надырбек (манап Калыгул Байуулу, знаменитый акын, один из основоположников историко-философского учения «заман» о бренности мира и его неизбежном трагическом конце) [11. С. 47].

Таким образом, А. Акаев, действительно, потомок древних киргизских манапов племени сарабагыш, а по матери-казашке в его жилах течет и казахская кровь. Хорошо известно, что А. Акаев находится родственных отношениях с Н. Назарбаевым именно по материнской линии.

Традиционная иерархическая клановая модель была восстановлена до марта 2005 года. В общем, тот факт, что первым президентом независимого Кыргызстана стал «северянин» Аскар Акаев, можно считать продолжением традиции советской кадровой политики.

Очередным историческим реваншем Юга стал приход к власти Курманбека Бакиева (клан ичкилик). Его на короткий отрезок времени сменила Роза Отумбаева (род саруу, Север). И наконец, ситуация была стабилизирована Алмазбеком Атамбаевым, принадлежащим к Северу, но являющимся по происхождению рода южанином (род ичкилик).

Наиболее устойчивая политическая система Киргизии в рамках клановой концепции была выстроена все же именно президентом А. Акаевым в период с 1991 г. по март 2005 г. Он провозгласил курс на демократизацию страны и попытался сделать из Кыргызстана островок, витрину демократии в Центральной Азии. Однако несмотря на кажущуюся стабильность с начала 1990-х гг. в стране шла порой напряженная латентная, порой прорывающаяся на поверхность борьба между кланами Севера (чуйско-иссыкульский род) и кланами Юга (ошский род и этнические узбеки).

В политической элите страны руководящие посты занимали представители северного клана (уроженцы Чуйской области – родины Акаева; Нарынской области – племени сара багыш). Но вплоть до 2005 года эффективного

механизма политической системы так и не сложилось. Непотизм стал основой режима А. Акаева.

Электоральный период был избран оппозицией с Юга при поддержке различного рода западных организаций типа Freedom House для расшатывания позиций северян. На 27 февраля 2005 года в Киргизии были назначены выборы в парламент. Южане во главе с К. Бакиевым создали оппозиционный блок и призвали к выходу на улицу с протестами против действующей власти, а результаты еще не состоявшихся выборов были объявлены нелегитимными. Сценарий «цветной революции» пошагово реализовался в Киргизии. Но тому были серьезные предпосылки: слабость местной власти – Севера, демократизация Киргизии по западным лекалам.

Об этом незадолго до марта 2005 г. говорил сам действующий президент А. Акаев: «Предпосылки конечно, есть… У нас в Киргизии уже есть основы демократии, свободно действуют оппозиционные СМИ, нет цензуры, создано пять тысяч неправительственных организаций. Почва для технологий подготовлена. Я уверен, что в Туркмении эта технология не сработает. А в Киргизии может…» [12. С. 203]. Следует отметить, что Акаев дал довольно точную оценку ситуации.

Уже в первых числах марта 2005 года протестные волнения, возглавляемые кланами Юга, распространяются по территории всего Кыргызстана. По всей стране проходят митинги с требованиями отставки А. Акаева. 13 марта 2005 года состоялся второй тур выборов в парламент Киргизии. По его результатам большинство получили сторонники Акаева. Но Юг не признал эти результаты. В Джалал-Абаде было создано параллельное правительство.

Посол Янг, уже открыто выступая в Бишкеке 21 февраля, заявил: «Если президент Акаев не станет баллотироваться на следующий президентский срок, то он останется в истории как один из основателей демократии в стране». При этом «если выборы в Киргизии не будут соответствовать демократическим стандартам, то это приведет к охлаждению отношений не только между США и Киргизией, но и Бишкека с остальным миром». Смысл, вкладываемый американцами в слово «демократический», хорошо известен. 16 марта посол США в Киргизии С. Янг встал на сторону южного клана и потребовал от Акаева оставить пост: «Решение уйти в отставку станет серьезным шагом вперед в развитии демократии» [13. С. 46].

В прессу активно вбрасывается информация о якобы имеющих место гонениях на свободную прессу, попытках президента Аскара Акаева закрыть неугодные ему оппозиционные издания, в частности газету «Моя столица – новости», которая печатается в типографии фонда поддержки СМИ, организованного при содействии госдепартамента и той же организации «Фридом Хаус». Нагнетаются слухи о причастности главы государства к снятию с предвыборной парламентской гонки ряда кандидатов, в том числе бывших членов его команды.

Ключевые события так называемой, «тюльпановой революции» пришлись на 24–25 марта 2005 г. В центре Бишкека прошел митинг оппозиции во главе с

К. Бакиевым и под лозунгами: «Долой Акаева!», «Акаева в отставку!». В ночь с 24 на 25 марта оппозиция провела захват ряда правительственных зданий и осуществила погромы супермаркетов, принадлежавших сыну А. Акаева.

25 марта обе палаты киргизского парламента назначили К. Бакиева исполняющим обязанности президента и премьер-министра, а 3 апреля 2005 г. в ходе переговоров А. Акаева и спикера нового парламента О. Текебаева в Москве был подписан договор о досрочном сложении полномочий президента в соответствии с собственным заявлением [14].

На некоторое время Юг одержал исторический реванш при опоре на американские информационно-политические штыки над Севером. Но участи пасть жертвой конкуренции кланов не избежал и К. Бакиев, который лишился своего поста в апреле 2010 г. при аналогичных обстоятельствах.

«Обвиняя своего предшественника в коррупции, непотизме, социально-экономической поляризации богатого Севера и бедного Юга, он и не подозревал, что будет свергнут под аккомпанемент тех же лозунгов», – справедливо резюмируют Н. Данюк, М. Юраков [15. С. 47].

Бакиев относился к джалал-абадскому роду южного клана, но, приведя своих соплеменников во власть, он сразу же вызвал недовольство со стороны северян. И клановая иерархическая спираль снова разжалась.

«Тюльпановая революция» 2005 г. не сняла противоречий между Севером и Югом, а лишь стала прологом к «дынной революции» 2010 г., в ходе которой к власти в Кыргызстане пришло коалиционное правительство. Но и эта коалиционность, естественно, носила родоплеменной, клановый характер.

В событиях 2005 года помимо клановой конкуренции были задействованы и пружины скрытого механизма борьбы за влияния на Киргизию. Россия не хотела отпускать Киргизию из сферы своего влияния, США пытались Россию из Киргизии выдавить.

Как отмечал директор гарвардского центра Дэвиса по изучению России и Евразии М. Гольдман: «Потянув за конец киргизской нитки, можно размотать весь клубок бывших советских республик. И сама Россия может быть опрокинута» [16].

Весьма заинтересован в дестабилизации ситуации в Кыргызстане Китай. Китайские историки еще в 50–60 –е годы XX в. обосновывали историческую принадлежность Киргизии как к бывшей вассальной территории Китаю. Сомнительно, что эти амбиции в современных условиях сошли на нет.

Узбекистан и Казахстан в рамках борьбы за региональное лидерство хотят ввести в орбиту своего влияния и Бишкек. Родоплеменные группировки Севера традиционно являются проказахскими. А. Акаев находится в родственных связях с бывшим президентом Казахстана Н. Назарбаевым. Юг ориентируется на Узбекистан. Как известно, 15% населения Кыргызстана – этнические узбеки.

Нельзя также сбрасывать со счетов и доктрину панмонголизма – чингизидского возрождения. В основе этой идеологии – концепция о том, что монгольские этносы, к которым докринеры проекта относят и киргизов, подвергались

искусственной тюркизации. Политическим бенефициаром такого проекта выступают США. Их задача дестабилизировать ситуацию в Киргизии и в дальнейшем, умело играя на клановой конкуренции Севера и Юга и, в конечном счете, оторвать киргизов и от России, и от КНР.

ЛИТЕРАТУРА

[1] *Глумсков Д., Громов А.* Революция forever // Эксперт. 2005. № 12.
[2] National Security Strategy of The United States. May, 2005. Washington, 2010.
[3] Внешняя политика стран СНГ. М., 2017.
[4] *Непомнин О.Е., Иванов Н.А.* Типология азиатских обществ. М., 2010.
[5] *Айдаркул К.* Международные отношения кыргызов // Кыргызстан: история и современность. Бишкек, 2002; *Хамидов А.* Волнения в Киргизии с точки зрения соперничестве кланов // Евразия. 2002. № 2.
[6] *Сариев М.* На каких принципах строится политика в Киргизии // Русский репортер. 2010. № 14.
[7] *Багдасарян В.Э.* Мир под прицелом революции. СПб., 2017.
[8] *Усубалиев Т.* О нашем времени и о делах моей жизни. Бишкек, 2003.
[9] *Лузянин С.П.* Цветные революции в центрально-азиатской проекции: Кыргызстан – Узбекистан – Казахстан // Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 5.
[10] *Койгуев Т., Плоских В.* Аскар Акаев: ученый, политик. Бишкек, 1996.
[11] *Сапаралиев Д.* Родословная президента А. Акаева // Свободные горы. 1996. № 45–53.
[12] *Акаев А.* Думая о будущем. Размышления о внешней политики и мироустройстве. М., 2004.
[13] Дипломатия США в Кыргызстане / под ред. Д. Орлова. М., 2015.
[14] РИА Новости. URL: https://ria.ru/20050403/39612595.
[15] Филимонов Г., Данюк Н., Юралов М. Переворот «цветные революции»: современные технологии демонтажа политических режимов. СПб., 2016.
[16] URL: https://daviscenter.fas.harvard.edu/; https://we.hse.ru/cic/davis.

REFERENCES

[1] Glumskov D., Gromov A. Revoljucija forever // Expert. 2005. № 12.
[2] National Security Strategy of The United States. May, 2005. Washington, 2010.
[3] Vneshnjaja politika stran SNG. M., 2017.
[4] Nepomnin O.E., Ivanov N.A. Tipologija aziatskih obshhestv. M., 2010.
[5] Ajdarkul K. Mezhdunarodnye otnoshenija kyrgyzov // Kyrgyzstan: istorija i sovremennost'. Bishkek, 2002; Hamidov A. Volnenija v Kirgizii s tochki zrenija sopernichestve klanov // Evrazija. 2002. № 2.
[6] Sariev M. Na kakih principah stroitsja politika v Kirgizii // Russkij reporter. 2010. № 14.
[7] Bagdasarjan V.Je. Mir pod pricelom revoljucii. SPb., 2017.
[8] Usubaliev T. O nashem vremeni i o delah moej zhizni. Bishkek, 2003.
[9] Luzjanin S.P. Cvetnye revoljucii v central'no-aziatskoj proekcii: Kyrgyzstan – Uzbekistan – Kazahstan // Central'naja Azija i Kavkaz. 2005. № 5.
[10] Kojguev T., Ploskih V. Askar Akaev: uchenyj, politik. Bishkek, 1996.
[11] Saparaliev D. Rodoslovnaja prezidenta A. Akaeva // Svobodnye gory. 1996. № 45–53.

[12] Akaev A. Dumaja o budushhem. Razmyshlenija o vneshnej politiki i miroustrojstve. M., 2004.
[13] Diplomatija SShA v Kyrgyzstane / pod red. D. Orlova. M., 2015.
[14] RIA Novosti. URL: https://ria.ru/20050403/39612595.
[15] Filimonov G., Danjuk N., Juralov M. Perevorot «cvetnye revoljucii»: sovremennye tehnologii demontazha politicheskih rezhimov. SPb., 2016.
[16] URL: https://daviscenter.fas.harvard.edu/; https://we.hse.ru/cic/davis.

Research article

Clan hierarchy as the basis of the "tulip revolution" in Kyrgyzstan

S.A. Voronin, E.A. Bakina

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russia

In 2005, the so-called Tulip Revolution took place in Kyrgyzstan. In terms of form and content, the events that took place in Kyrgyzstan fully fit into the concept of protest movements (velvet, melon, jasmine and other revolutions) that unfolded at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries. The start to such "revolutions" aimed at changing the regime was given in 1953, when the Prime Minister of Iran Mossadyk was removed from power during the coup d'etat, which was supervised by the CIA.

An analysis of the events in Kyrgyzstan showed that behind the coup that led to the overthrow of President Askar Akayev, there were external forces coordinating their efforts in accordance with the methodological recommendations of the American technologist of political coups Gene Sharpe. However, external actions, for all their significance, did not become the main cause of the Tulip Revolution, but acted only as a catalyst. Over the centuries, in Kyrgyzstan there has been a complex of internal contradictions between various political groups, which became the detonator of a political cataclysm in 2005. One of the most significant internal causes of the political crisis of 2005 was the clan rivalry of the North and South in the struggle for power.

The clan hierarchy has been the foundation of the political systems of Central Asia for centuries; Kyrgyzstan was no exception. The article is devoted to the consideration of the mechanism of the clan hierarchy, the analysis of political competition between the North and the South, the role and importance of clans during the 2005 coup.

Keywords: "tulip revolution", clan hierarchy, Askar Akayev, Khan-Tengri, Kyrgyz dream, Ichklik, sarabagysh

Информация об авторах / Information about the authors

Воронин С.А., д.и.н., заведующий кафедрой всеобщей истории РУДН, директор Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования. E-mail: Voronon_sa@rudn.ru

Бакина Е.А., ассистент кафедры всеобщей истории РУДН, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования. E-mail: Bakina_ea@rudn.ru

Voronin S.A., Doctor of History, Head of the Department of General History of RUDN University, Director of the Center for Historical Expertise and State Forecasting. E-mail: Voronon_sa@rudn.ru

Bakina E.A., Assistant of the Department of General History of RUDN University, Deputy Director of the Center for Historical Expertise and State Forecasting. E-mail: Bakina_ea@rudn.ru

Для цитирования / For citation

Воронин С.А., Бакина Е.А. Клановая иерархия как основа «тюльпановой революции» в Кыргызстане // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2019. Т. 11. № 2. С. 161–171. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8127-2019-11-2-161-171.

Voronin S.A., Bakina E.A. Clan hierarchy as the basis of the “tulip revolution” in Kyrgyzstan // RUDN Journal of World History. 2019. Vol. 11. No. 2. Pp. 161–171. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8127-2019-11-2-161-171

Рукопись поступила в редакцию / Article received: 12.03.2019

RUDN Journal of World History
Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
2019 Vol. 11 No. 2 172–178
http://journals.rudn.ru/world-history

DOI 10.22363/2312-8127-2019-11-2-172–178 Научная статья

Принцип транссубъективности в исторической методологии Лумана[3]

А.К. Аликберов

Институт востоковедения РАН
ул. Рождественка, 12, Москва, Россия, 107031

Статья посвящена принципу транссубъективности и ее отражению в исторической методологии Никласа Лумана. Транссубъективность, как и интерсубъективность, понимается в науке по-разному (Н. Лосский, А. Бергсон, И. Пригожин и др.). Раскрывая концепцию времени, Луман делит время на мировое (*aeternitas* «вечность») и системное (*tempus*), которое наполнено особым смыслом, отличающем одно системное время от другого. История реконструируется как раз в рамках временнóго измерения смысла. Это означает, что в своей исторической методологии Луман по сути отстаивал принцип транссубъективизма, хотя и отрицал онтологические позиции субъекта и объекта.

В рамках формирующегося системно-коммуникационного подхода, опирающегося на историческую методологию Лумана, принцип транссубъективности означает более предметное и максимально реалистичное (а значит, и более объективное) понимание принципа историзма, когда прошлое рассматривается через призму восприятия конкретного человека – одновременно и субъекта, и объекта истории. Если в цифровой истории такая онтологическая суперпозиция благодаря особенностям информационной среды и возможностей тотального самоописания общества (по Луману), благодаря цифровой фиксации многих социальных действий *Ego,* более чем допустима, то в не-цифровой, традиционной науке она может применяться в качестве концептуальной схемы, объяснительной модели.

Ключевые слова: методология истории, концепция времени, системное время, коммуникация, системно-коммуникационный подход, интерсубъективность, транссубъективность, Н. Лосский, Н. Луман

Для формирующегося системно-коммуникационного подхода к изучению истории важнейшее значение имеет концепция *времени Никласа Лумана, в которой анализируются такие категории, как момент времени, движение времени, прямая, «вдоль которого с определенной скоростью движется нечто*, но не все» [1. С. 206], поток, процесс, событийность. Эти категории описывают мир, общество и социальные коммуникации в их временнóм из-

© Аликберов А.К., 2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

мерении, которое *и есть история*. Как условие возможности социального действия время являлось ключевым измерением еще у Толкотта Парсонса, которого Луман считал своим учителем [2. С. 304]. Во «Введении в системную теорию» Луман посвятил понятию времени специальный раздел, рассматривая его как важнейшее понятие, связанное с наблюдателем и процессом наблюдения, действием и смыслом действия, коммуникацией и ожиданием [1. С. 203]. Концепция времени в исторической методологии Лумана связана с вопросом о субъективности восприятия времени, а также самой истории.

Многофакторный логический подход, который автор применяет к системному историческому познанию [3. С. 15–25], так же как и логика различения, которую Луман использует для дифференциации различных сущностей, дает более тонкий инструментарий системного анализа, разделяя субъективность на составляющие ее онтологические диспозиции: 1) интерсубъективность, важную для изучения коммуникативного диалога, как двустороннего, так и многостороннего, 2) интрасубъективность, позволяющую проанализировать моменты прошлого, когда человек обращается к собственному внутреннему миру, *Alter Ego*, или образу Бога в своем сознании, и 3) транссубъективность, на котором мы остановимся подробнее, анализируя концепцию времени в исторической методологии Лумана.

Проблема транссубъективности относится к числу недостаточно изученных. Н. Лосский, который одним из первых ввел понятие «транссубъективность», сетовал, что «п**роблема транссубъективности** внешнего опыта осталась совсем не решенною, а важные открытия по вопросу об объективности были искажены примесью искусственных построений» [4. С. 128]. Чтобы объяснить понятие транссубъективности, Лосский предлагал обратиться к переживаниям, совершенно лишенным пространственных форм, они «живо чувствуются, как нечто транссубъективное» [4. С. 141], но могут быть и более общие основания транссубъективности. Такой подход смешивает транссубъективность с интрасубъективностью: в первом случае переживание связано с восприятием человеком внешнего мира и его пониманием, а во втором – с внутренним миром *Ego*.

Религиозный опыт, как и любой опыт, основанный на познании действительной или иллюзорной реальности, вполне может быть и транссубъективным [5. С. 670], однако в научном познании опыт молитвы, обращенной к Богу, остается интрасубъективным, хотя верующий человек искренне убежден в его транссубъективности: для него Бог – абсолютно реальная Высшая истина, находящаяся за пределами человеческого сознания.

Для различения транссубъективности и интерсубъективности М.В. Мазарский противопоставляет построения Пуанкаре и Левинаса, в которых исследователь видит интерсубъективность, с транссубъектизмом в концепциях А. Бергсона и И. Пригожина [6. С. 61]. Сам исследователь объясняет транссубъективность как понимание человеком инстинктивно воспринимаемой непрерывности своего существования. Речь идет об ощущении времени – текущего и исторического, в сознании наблюдателя, «стреле времени», соединяющем «представляемое прошлое и переживаемое настоящее» [6. С. 57, 61].

В понимании Анри Бергсона транссубъективная картина мира предполагает восприятие реальности как взаимной сопричастности, всеобщего и всепроникающего взаимодействия [7. С. 61]. Илья Пригожин вводит понятие внутреннего времени системы, отличающегося от внешнего, астрономического времени. Отсюда обосновывается идея «мгновенно-точечной» локализации любого исторического события, поскольку каждой системе в каждой отдельной точке пространства соответствовало не общее, т.е. обезличенное, а свое особое мгновение, наполненное уникальным внутренним смыслом и реальным содержанием. В масштабе личности внутреннее время И. Пригожин называет «стрелой времени» собственной жизни [8. С. 7]. Поскольку в качестве системы выступает не только *Ego*, но и социальная группа, и общество, то исследователь пришел к выводу о существовании иерархии внутренних времен, соответствующей каждому уровню организации: «С одной стороны, мы <…> можем быть охарактеризованы одним внутренним временем. С другой стороны, как члены некой группы, мы принадлежим более высокому уровню внутреннего времени, в котором активно действуем. Весьма вероятно, что многие наши проблемы <…> обусловлены конфликтом между масштабами внутреннего времени в нас самих и масштабами внешнего времени в окружающем мире» [8. С. 216].

Луман вслед за Пригожиным описывает принцип транссубъективности, хотя и не говорит о нем напрямую, когда делит время на мировое и системное. В отличие от Пригожина, системное время рассматривается Луманом как некое целостное измерение смысла [1. С. 228]. История реконструируется как раз в рамках временнóго измерения смысла, в котором время обозначается как ***tempus*, в противоположность времени как вечности (*aeternitas*)** [9. С. 43]. В системном историческом познании время «мыслится как измеряемая дистанция, как датируемая линия, как темпорализированная комплексность, в которую можно внести много различного, если только оно размещается последовательно» [9. С 160]. Однако история, в отличие от линейного, нелинейного, «осевого» или иного хода времени, необязательно подразумевает последовательность: «Под историей не может пониматься просто фактическая последовательность событий, с точки зрения которой настоящее понимается как действие прошедших причин или как причина будущих событий. Особенность смыслового конституирования истории заключается в том, что оно делает возможным свободный доступ к смыслу прошедших и будущих событий, т.е. прерывание последовательности. История возникает благодаря освобождению от последовательности» [10. S. 588]. Луман справедливо замечает, что история является «картой», а не «территорией», поэтому она – «всегда редукция полученной свободы доступа ко всему прошлому и всему будущему» [10. S. 588].

Хотя реальная эволюция и происходит в настоящем, динамика ее наблюдаема лишь во временном измерении, т.е. истории. Луман в связи с этим объясняет, что «теория общественной эволюции не может быть теорией, каузально объясняющей протекание истории или даже хотя бы известных событий. Представление о времени должно лишь предуготовлять теоретическую схему для исторических исследований, которая при благоприятных обстоятельствах

может приводить к ограничению возможных каузально-релевантных причин» [11. С. 91]. Как говорит Луман, «все, что происходит, происходит (если наблюдать с позиций времени) одновременно», а «одновременные события не могут взаимно влиять друг на друга и взаимно друг друга контролировать; ведь причинность требует различия во времени между причинами и следствиями, т.е. перехода через временные границы одновременно-актуального» [12. С. 15].

Н. Луман рассматривает время вместе с пространством: у него время локализовано в конкретном акте, событии. В тот момент, когда наблюдатель пытается описать событие, он соотносит его с тем, что было до него, и представляет, что будет потом. В этот момент настоящего, который переживает наблюдатель, историческое событие и происходит. Определение настоящего индексирует системное, или внутреннее время на прошлое и будущее. Перцептивная протяженность настоящего, связанное с операционным модусом системы, также транссубъективна: в минуту крайней опасности время как будто останавливается, а в расслабленном состоянии оно течет гораздо быстрее. Луман объясняет это тем, что эта перцептивная протяженность настоящего момента «встроена в качестве переменной в задействованную идею времени» [1. С. 210].

Отдельно Луман рассматривает различения, с помощью которых наблюдатель тематизирует и воспринимает время. Транссубъективность восприятия системного, или «внутреннего», по Бергсону, времени хорошо иллюстрируется на сравнительных примерах. Например, для представителя традиционной общины доиндустриального типа время может измеряться днями, которые он делит на утреннее, обеденное и вечернее время (в традиционных исламских общинах – на пять частей, в соответствии со временем пятикратной молитвы). В реальности постиндустриальной городской жизни важны не только часы, но и минуты, вследствие того значения, которое общество им придает. Например, опоздавший даже на одну минуту рискует не успеть на свой поезд и пропустить знаменательное событие в масштабе своей персональной истории.

Поэтому, согласно Луману, категория времени, как и само время, относительна, а координаты относительности задает система. Простое различение мирового времени от системного приводит к тому, что мы можем различать мир (по Хабермасу – внешний мир) и систему (по Хабермасу – «жизненный мир»). Когда Луман проецирует системное время на мировое, то остается нерешенным вопрос, кто находится в центре системы, образуя ядро системных связей – конкретный человек, студент или организация? [1. С. 210]. В системно-коммуникационном подходе этот вопрос надежно решен – наблюдателем может быть только *Ego*, который одновременно является и субъектом, и объектом истории. Поэтому на первичном объективно-предметном уровне осмысления эмпирического материала истории, на котором системно-коммуникационный подход, требующий верификации теоретического знания, наиболее эффективен, он исключает лумановскую системную референцию для организаций, социальных групп, обществ, поскольку восприятие реальности, как и времени, не просто субъективно, а транссубъективно, т.е. происходит только в сознании конкретного человека.

Выводы:

1. Во многих исследованиях приводятся фактические примеры транссубъективности, но без привязки к данной категории как таковой. Историческое мышление, историческое сознание и историческое время – конкретные примеры этого явления.

2. Хотя Луман и выступал против субъектности, утверждая, что «субъект – это химера», на самом деле в вопросе о противопоставлении мирового времени и системного времени, в котором отражается смысл настоящего момента, он опосредованно исповедует принцип транссубъективности. Здесь возникает явное противоречие между различными теоретическими положениями в исторической методологии Лумана, поскольку транссубъективность без субъекта невозможна. Чтобы преодолеть это противоречие, придется отказаться от классической схемы субъект-объектных отношений, рассматривая их в суперпозиции, когда в системном историческом познании субъект одновременно выступает в качестве объекта и наоборот.

3. Исходя из вышесказанного, мы можем заключить, что системная референция Лумана может быть в полной мере использована лишь на самом высоком философском (субъективно-предметном) уровне анализа, на котором общество действительно может выступать в качестве наблюдателя [1. С. 206], а для объективно-предметного анализа эмпирического материала истории и первичных теоретических обобщений на основе этого материала она слишком собирательна.

ЛИТЕРАТУРА

[1] *Луман Н.* Введение в системную теорию / Под ред. Дирка Беккера. Пер. с нем. К. Тимофеева. М.: Изд-во «Логос», 2007.

[2] *Антоновский А.* Аналитика времени: к трансформации «староевропейской семантики» в самоописаниях социальных систем // Луман Никлас. Самоописания. Пер. с нем. / А. Антоновский, Б. Скуратов, К. Тимофеева. М.: Изд-во «Логос», ИТДГК «Гносис», 2009.

[3] *Аликберов А.К.* Системная логика как инструмент системного подхода к истории // Вопросы философии. 2018. № 2. С. 15–25.

[4] *Лосский Н.* Обоснование интуитивизма. С.-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1906.

[5] *Смелова Н.Е.* Транссубъективный характер опыта молитвы (С. Булгаков и И. Ильин) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. № 374. С. 64–67.

[6] *Мазарский М.В.* Интерсубъективность и транссубъективность: Левинас, Пуанкаре, Бергсон, Пригожин // Философские науки. 2010. № 7. С. 50–64.

[7] *Бергсон А.* Творческая эволюция / Пер. с фр. В. Флеровой. Вступ. ст. И. Блауберг. М.: ТЕРРА-Книжный клуб; КАНОН-пресс-Ц, 2001.

[8] *Пригожин И.* От существующего к возникающему. М.: Мир, 2002.

[9] *Луман Н.* Самоописания. Пер. с нем. / А. Антоновский, Б. Скуратов, К. Тимофеева. М.: Из-во «Логос», ИТДГК «Гносис», 2009.

[10] *Luhmann N.* Die Gesellscharft der Gesellshaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1997.

[11] *Луман Н.* Эволюция. Пер. с нем. / А. Антоновский. М.: Из-во «Логос», 2005.

[12] *Луман Н.* Дифференциация. Пер. с нем. / Б. Скуратов. М.: Из-во «Логос», 2006.

REFERENCES

[1] Luhmann N. Vvedenie v sistemnuyu teoriyu [Introduction to system theory] / Ed. by Dirk Becker. Transl. from German K. Timofeeva. M.: Logos Publ., 2007.

[2] Antonovskiy A. Analitika vremeni: k transformacii «staroevropejskoj semantiki» v samoopisaniyah social'nyh sistem [Time Analysis: Towards a Transformation of "Old European Semantics" in the Self-Descriptions of Social Systems] // Luhman N. Samoopisaniya [Self-description]. Transl. from German / A. Antonovsky, B. Skuratov, K. Timofeeva. M.: Logos Publ., ITDGK "Gnosis", 2009.

[3] Alikberov A.K. Sistemnaya logika kak instrument sistemnogo podhoda k istorii [System logic as a tool of a systematic approach to history]. In: Voprosy filosofii [Questions of Philosophy]. 2018. No. 2. P. 15–25.

[4] Losskiy N. Obosnovanie intuitivizma [Justification of intuitivism]. St. Petersburg: Type. M.M. Stasyulevich, 1906.

[5] Smelova N.E. Transsub"ektivnyj harakter opyta molitvy (S. Bulgakov and I. Il'in) [Transsubjective nature of the experience of prayer (S. Bulgakov and I. Ilyin)] In: Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Tomsk State University Bulletin]. 2013. № 374. P. 64–67.

[6] Mazarsky M.V. Intersub"ektivnost' i transsub"ektivnost': Levinas, Puankare, Bergson, Prigozhin [Intersubjectivity and trans-subjectivity: Levinas, Poincare, Bergson, Prigogine] In: Filosofskie nauki [Philosophical Sciences]. 2010. No. 7. S. 50–64.

[7] Bergson A. Tvorcheskaya evolyuciya [Creative Evolution] / Transl. from French. V. Fleurova. Entry Art. I. Blauberg. M.: TERRA-Book Club; CANON-Press-C, 2001.

[8] Prigogine I. Ot sushchestvuyushchego k voznikayushchemu [From the Existing to the Emerging]. M.: Mir, 2002.

[9] Luhmann N. Samoopisaniya [Self-description]. Transl. from German. / A. Antonovsky, B. Skuratov, K. Timofeeva. M.: Logos Publ., ITDGK "Gnosis", 2009.

[10] Luhmann N. Die Gesellscharft der Gesellshaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1997.

[11] Luhmann N. Evolyuciya [Evolution]. Transl. from German / A. Antonovsky. M.: Logos Publ., 2005.

[12] Luhmann N. Differenciaciya [Differentiation]. Transl. from German / B. Skuratov. M.: Logos Publ., 2006.

Research article

Principle of trans-subjectivity in Luhmann's historical methodology

Alikber Alikberov

Institute of Oriental Studies, RAS
12 Rozhdestvenka St., Moscow, 107031, Russia

This article examines the problem of trans-subjectivity in Niklas Luhmann's historical methodology. Trans-subjectivity, like inter-subjectivity, is understood in the humanities in different ways (N. Lossky, A. Bergson, I. Prigogine and others). Luhmann's exploration of time

leads him to devide it into “eternity” (*aeternitas*) and “system time” (*tempus*). Each manifestation of the latter is imbued with a special meaning that distinguishes one system time from another. History is reconstructed within the framework of the time dimension of meaning. These temporally measured meanings are the framework for reconstructing. This means that in historical methodology Luhmann essentially defended the principle of trans-subjectivism, although he denied the ontological positions of subject and object.

In the framework of a forming system-communication approach significantly based on Luhmann’s historical methodology, trans-subjectivity becomes a new, more substantive and maximally realistic (and therefore more objective) understanding of the principle of historicism, when the past is viewed through the prism of the perception of a particular person, regarded as both the subject and the object of history. If in digital history such an ontological superposition is especially applicable thanks to the new conditions of an informal environment that allows for an almost total self-description of society (according to Luhmann), and records the digital footprints of social actions of the *Ego*, in non-digital traditional historical science it can also be used as a fertile conceptual scheme, and explanatory model.

Keywords: history methodology, concept of time, system time, communication, system-communication approach, inter-subjectivity, trans-subjectivity, N. Lossky, N. Luhmann

Информация об авторе / Information about the author

Аликберов Аликбер Калабекович, кандидат исторических наук, заместитель директора Института востоковедения РАН. E-mail: alikberov@mail.ru

Alikber Alikberov, PhD in Historical Sciences, Deputy Director of the Institute of Oriental Studies, RAS. E-mail: alikberov@mail.ru

Для цитирования / For citation

Аликберов А.К. Принцип транссубъективности в исторической методологии Лумана // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2019. Т. 11. № 2. С. 172–178. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8127-2019-11-2-172-178

Alikberov A. Principle of trans-subjectivity in Luhmann’s historical methodology // RUDN Journal of World History. 2019. Vol. 11. No. 2. Pp. 172–178. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8127-2019-11-2-172-178

Рукопись поступила в редакцию / Article received: 16.05.2019

RUDN Journal of World History
Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
2019 Vol. 11 No. 2 179–188
http://journals.rudn.ru/world-history

DOI 10.22363/2312-8127-2019-11-2-179-188 Научная статья

Ю.Н. Рерих и его анализ истории развития индологии в России[4]

А.М. Шустова

Институт востоковедения РАН
ул. Рождественка, 12, Москва, 107031, Россия

Научное наследие российского востоковеда Ю.Н. Рериха (1902–1960) до сих пор изучено недостаточно. Целью данной статьи является рассмотрение работы Ю.Н. Рериха «Indology in Russia» («Индология в России»), которую он опубликовал на английском языке в 1945 году в индийском журнале (Journal of the Greater India Society). В статье акцентированы некоторые особенности подхода Ю.Н. Рериха к тому, что считать индологическими исследованиями.

В данной статье рассматриваются также работы современных индологов С.Д. Серебряного и Я.В. Василькова, в которых дается оценка работы Рериха. Автор расценивает вклад Ю.Н. Рериха в историю востоковедения как значительный, а работу С.Д. Серебряного рассматривает в качестве продолжения исследования Рериха, которое заканчивается периодом 1945 года.

Ключевые слова: Ю.Н. Рерих, история востоковедения, индология в России, буддология, санскритология

Введение

В 1945 году в индийском журнале The Journal of the Greater India Society на английском языке вышла достаточно объемная статья Ю.Н. Рериха, посвященная истории индологии в России [1].

В конце 1930-х годов семья Рерихов планировала вернуться на родину в Россию. Проживая в маленьком поселке на севере Индии, Ю.Н. Рерих насколько это возможно, следил за публикациями своих коллег в России. Не мысля себя в отрыве от российской науки, он написал достаточно объемную статью, в которой представил свое видение развития истории индологии в России.

Методы и материалы

Принципиальной является точка зрения Рериха на то, какие области востоковедных исследований относить к индологии. Так, к индологическому рассмотрению он относил не только изучение культуры, религии и истории

© Шустова А.М., 2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Индии в рамках ее географических границ, но и изучение всего культурно-исторического пространства распространения наследия индийской мысли. По мнению Рериха, ядром этого наследия является северный буддизм (махаяна), который в свое время распространился в Китайском Туркестане, Тибете и Монголии, достигнув границ Российской империи. Весь этот культурно-исторический мир Рерих называл «великим Индийским культурным континентом» [2. С. 198], и его изучение относил к сфере индологии.

Выводы Рериха базировались на исторически сложившейся традиции петербургско-ленинградской школы в российском востоковедении, которая наиболее успешно начала развиваться на исследовании литературы по буддизму махаяны. Именно эти достижения позволили российской индологии в начале XX века занять одно из ведущих мест в мировом востоковедении.

Рерих находился в оторванности с крупными научными центрами востоковедения, вследствие чего ему было трудно как собирать необходимую информацию, так и контактировать со своими коллегами. Поэтому в его обзоре есть некоторые лакуны и неточности. В особенности это касается развития индологии в России после 1917 года. Об этом указал в своем анализе этой работы Ю.Н. Рериха С.Д. Серебряный [3]. Автор анализирует замечания Серебряного и рассматривает его работу Серебряного как продолжение исторических исследований Рериха. В статье также приводится мнение Ю.В. Василькова [4], который высоко отзывается не только о данной работе Рериха, но и о всей его научной деятельности.

Исследование проблемы

Ю.Н. Рерих начал анализ истории развития индологии в России с далеких времен, с появления развития первых русско-индийских контактов на культурной почве. Ученый справедливо пишет, что «мы располагаем немногими сведениями о культурных связях России и Индии до XV столетия» [2. С. 173], однако он замечает, что существуют археологические находки буддийских изображений в курганах Южной России, свидетельствующие о присутствии индийского влияния еще в домонгольскую эпоху. Если материальных следов раннего взаимодействия Руси и Индии совсем мало, то, как пишет Рерих, русский фольклор содержит достаточно много явных индийских мотивов.

Собственно же сведения об Индии из первых рук, как замечает Рерих, были получены от тверского купца Афанасия Никитина (ум. 1475), посетившего в XV веке индийские владения и оставившего записи со своими наблюдениями. Как отмечает Рерих, «его незавершенный дневник по-прежнему остается важным источником информации» [2. С. 174].

Знания об Индии были добыты не только тогда, когда русские люди отправлялись в индийские земли, но они могли быть почерпнуты из рассказов тех индийцев, которые торговали в русских городах. Рерих пишет, что «многие в России могли получать сведения об Индии непосредственно от индийских торговцев и ремесленников, которые жили в России в XVII столетии» [2.

С. 174]. Здесь имеется в виду индийская колония в Астрахани, сыгравшая определенную роль в развитии русско-индийских отношений и получения сведений об Индии.

Интересно, что в статье об истории индологии Рерих в деле сближения с Индией отмечает известного русского ученого М.В. Ломоносова, способствовавшего организации первой Полярной экспедиции, целью которой было отыскание морского пути в Индию. В годы Ломоносова и даже Рериха идея прохода северными морями в Индию казалась фантастической. В наши же дни она может стать реальностью. Благодаря изменению климата и таянию полярных льдов свое ускоренное развитие получает Северный морской путь, который преследует цель установления маршрута, соединяющего северные территории Евразии со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна и Индией.

В изучении духовно-философской традиции Индии эпос «Бхагавад-гита», один из самых почитаемых индийцами текстов, занимает особое место. Рерих в молодые годы занимался его переводом. В своей статье он отмечает, что ее первая русская публикация была осуществлена в 1788 г. известным общественным деятелем и издателем Н.И. Новиковым (1744–1818).

Конечно, в анализе истории индологии в России Рерих не мог обойти вниманием русского музыканта Герасима Лебедева (1749–1817), который прожил в Индии 12 лет. Лебедев выучил бенгальский язык, написал на нем ряд пьес для Калькуттского театра, хорошо знал классический санскрит. По возвращении в Россию он отлил здесь первый шрифт деванагари.

XIX век в России, как и в Европе, стал веком бурного развития санскритологии. На этом поприще Рерих отмечает видного государственного деятеля графа С.С. Уварова (1786–1855), который стал основателем научного изучения санскрита в России, подготовив проект создания Восточной академии в Санкт-Петербурге.

Развитие санскритологии в России было тесно связано с изучением буддизма. Среди первых серьезных научных работ по буддизму Рерих отмечает труды синолога Н.Я. Бичурина (отца Иакинфа) (1777–1853) – исследователя истории и географии Китая, Тибета, Туркестана и Монголии, работы члена Российской Академии наук Я.И. Шмидта (1779–1847), который в деле изучения тибетского языка стал продолжателем исследований первого европейского тибетолога Чома де Кёреши (1784–1842). К этой же плеяде востоковедов Рерих причисляет монголоведа и буддолога О.М. Ковалевского (1801–1878), его ученика В.П. Васильева (1818–1900), а также индолога и тибетолога А.А. Шифнера (1817–1879). Шифнер занимался исследованиями тибетской филологии, а также подготовкой к печати тибетских текстов и многоязычных словарей, таких как словарь буддийских терминов на санскрите, тибетском и монгольском языках. Рерих акцентирует внимание на данной работе, так как эта сфера востоковедной деятельности была близка и ему самому. Он на протяжении более тридцати лет работал над составлением санскрито-тибето-англо-русского словаря [5].

Что касается санскритских словарей, то Рерих в статье обращает внимание на семитомный «Петербургский санскритский словарь» О.Н. Бётлингка (1815–1904) и Р. Рота (1821–1895) [6]. В научной библиотеке Рериха этот словарь занимал достойное место[1].

Конечно же, Рерих в своей работе не мог обойти вниманием заведующего кафедрой санскрита Петербургского университета профессора И.П. Минаева (1840–1890) – великого русского индолога и буддолога. Минаев, несмотря на короткую по сегодняшним меркам жизнь в 49 лет, сумел добиться многого в своей научной карьере. Рерих был хорошо знаком с трудами Минаева, среди которых были издания ряда санскритских и палийских текстов. Минаев достаточно много путешествовал по Индии и сопредельным регионам, имел возможность непосредственно наблюдать жизнь азиатских народов, особенности которой изложил в своих очерках. Рерих пишет, что И.П. Минаев стал основателем в индологии особой традиции широкого охвата изучаемого предмета, когда интерес исследователя не ограничивается одной изучаемой темой и он берет много других сопредельных тем и когда наряду с древностью он изучает и современность, когда филология тесно увязывается с историей, географией, с фольклором.

Достаточно объемную часть своей работы Рерих посвящает С.Ф. Ольденбургу (1863–1934). Вклад профессора С.Ф. Ольденбурга в развитие индологии и востоковедения в целом, действительно, огромен. Как известно, он долгое время находился на посту директора Азиатского музея Российской Академии Наук и был инициатором многих успешных научных проектов. С.Ф. Ольденбург – ученик профессора И.П. Минаева, достойно продолживший заложенные им традиции и развивший далее индологические исследования в России. В особенности Рерих отмечает научно-организационную деятельность С.Ф. Ольденбурга, способствовавшую организации целого ряда археологических экспедиций в районы Восточного Туркестана, Центральной Азии и Дальнего Востока. Как известно, Ольденбург организовал знаменитые экспедиции П.К. Козлова в Восточный Тибет (1900–1901), в Южную Монголию и Амдо (1907–1909), в результате которых был открыт древний город тангутов Хара-Хото в бассейне р. Эдзин-Гол. Рерих хорошо знал историю русских экспедиций в Центральную Азию. Он сам являлся участником большой экспедиции его отца в Центральную Азию и Тибет и сделал немало открытий. Свои исследования он описал в ряде статей и в монографии «По тропам Срединной Азии» [7].

Восторгаясь научными успехами Ольденбурга, Рерих писал, что «одним из его величайших достижений, которое принесло Российской Академии наук заслуженную славу, было основание в 1897 году Bibliotheca Buddhica, серии, посвященной публикации буддийских текстов и монографий на буддийские темы» [2. С.183]. Известно, что в США в 1891 году под руководством Ч.Р. Ланмана[2] был начат проект «Harvard Oriental Series» («Гарвардской восточной серии»),

[1] В данное время находится в мемориальном кабинете Ю.Н. Рериха в Институте востоковедения РАН.

[2] Ч.Р. Ланман (1850–1941) преподавал Ю.Н. Рериху древнеиндийские языки санскрит и пали во время его учебы в Гарварде.

нацеленный на перевод на английский язык и комментирование памятников индийской литературы. Для истории мировой индологии оба эти проекта стали эпохальными, протяженность во времени «Гарвардской восточной серии» охватывает более столетия[3]. Рерих приложил немало усилий, чтобы серия Bibliotheca Buddhica была продолжена после ее прекращения в результате обрушившихся на российское востоковедение репрессий 1930-х годов. Под редакцией Рериха в этой серии была издана «Дхаммапада» [8]. К 1990 году в Bibliotheca Buddhica числилось 37 томов.

В ряду ученых, составивших гордость отечественного востоковедения, Рерих также называет ученика Минаева и Ольденбурга, члена Российской Академии наук, руководителя кафедры санскрита в Ленинградском университете, санскритолога, буддолога Ф.И. Щербатского (1866–1942). В статье «Индология в России» он перечисляет труды Ф.И. Щербатского, многие из которых вошли в золотой фонд российского и мирового востоковедения. Ф.И. Щербатской явился автором, комментатором и составителем, иногда с другими учеными, ряда томов, вошедших в серию Bibliotheca Buddhica. Рерих отмечает также значительный вклад в индологию санскритолога А.А. фон Сталь-Гольштейна (1871–1937). Ученый эмигрировал в США в конце 1920-х годов, где стал профессором центрально-азиатской филологии в Гарвардском университете.

В деле развития индологии Рерих отдает дань также ученым, которые занимались исследованием буддизма в Монголии. Среди них он отмечает А.М. Позднеева (1851–1920), Б.Я. Владимирцова (1884–1931), а также С.А. Козина (1879–1956), важнейшими работами которого являются публикации эпических сказаний «Гесериады» и «Джангариады». К успехам индологии Рерих относит и труды российского тюрколога В.В. Радлова (1837–1918), работавшего с буддийскими текстами. Продолжая анализировать историю развития индологии в России, Рерих называет учеников Щербатского санскритологов и буддологов О.О. Розенберга (1888–1919) и Е.Е. Обермиллера (1901–1935). Среди индологов советского периода Рерих называет А.П. Баранникова (1890–1952), В.М. Бескровного (1908–1978), Б.А. Ларина (1893–1964), И.Д. Серебрякова (1917–1998), Р.И. Шор (1894–1939), а также М.И. Тубянского (1893–1937) и А.И. Вострикова (1902–1937).

Рерих понимал, что сделанное им исследование не полно и отражает только обзор в основном буддологических работ, тем не менее, очень важных для понимая тенденций, по которым развивалось отечественная индология.

Работа Ю.Н. Рериха «Индология в России» привлекла внимание современных индологов. В 2002 году была опубликована достаточно объемная статья С.Д. Серебряного «Ю.Н. Рерих и история отечественной индологии» [3]. Серебряный не только дал оценку статьи Рериха, но и в виду того, что при переводе ее на русский язык не были даны необходимые комментарии, взял на себя труд это сделать.

[3] В 2009 году вышел 73-й том этой серии.

Начиная комментировать работу Рериха, Серебряный выделяет два комплекса проблем. По его мнению, к первому относится вопрос «включения эмигрантской русской культуры XX века в культуру России постсоветской. Соответственно, можно говорить о проблеме интеграции достижений эмигрантского востоковедения в российскую постсоветскую науку [3. С. 20]. Тем самым он подразумевает принадлежность исследований Рериха к эмигрантской культуре. Причем помимо внешней эмиграции, к которой он относит Ю.Н. Рериха, а также А.А. фон Сталь-Гольштейна и Н.Д. Миронова, Серебряный упоминает и о проблеме «внутренней эмиграции», когда российские ученые, например, Ф.И. Щербатской, писали на западных языках и вынуждены были публиковаться заграницей. Названная Серебряным проблема действительно существовала. Из-за того, что советская наука развивалась в условиях относительной изоляции и под идеологическим прессингом, в определенной мере нарушилась преемственность с досоветским периодом ее существования.

Вторая проблема, по мнению Серебряного, заключается в том, «что история отечественной индологии и вообще история отечественного востоковедения – как неотъемлемая и важная часть истории российской культуры в целом – исследована и осознана еще весьма недостаточно» [3. С. 21]. Серебряный замечает, что в советское время объективная история индологии в России не могла быть написана по понятным причинам. Он указывает книгу Г.М. Бонгард-Левина и А.А. Вигасина [9], а также «Историю отечественного востоковедения» [10, 11] как едва ли не единственные труды по истории индологии, написанные до и сразу после перестройки в СССР. Поэтому, пишет ученый, «публикация статьи Ю.Н. Рериха в русском переводе лишний раз напоминает нам, что история отечественной индологии и вообще история отечественного востоковедения – как неотъемлемая и важная часть истории российской культуры в целом – исследована и осознана еще весьма недостаточно» [3. С. 21].

Серебряный обращает внимание на сильные стороны исследования Рериха, такие как его хорошая осведомленность в сфере изучения северного буддизма. Как на недостаток он указывает на тенденцию Рериха «обходить острые углы» [3. С. 23], «создать максимально благоприятное (“мажорное”) впечатление о развитии российской индологии, подчеркнуть ее достижения и успехи (и, соответственно, сгладить, или обойти молчанием “сложности” и “проблемы”)» [3. С. 22]. С позиции современности этот тезис Серебряного в какой-то мере выглядит справедливым. Но для человека, планирующего вернуться на родину и продолжить свою научную работу в рамках советской системы, писать в «мажорном» ключе было правомерным.

С оценкой С.Д. Серебряного, будто бы Рерих в своем труде «Индология в России» старался приукрасить действительность, не согласен Я.В. Васильков, который высказал свое мнение по этому вопросу в статье «Ю.Н. Рерих и возрождение традиций классического востоковедения в СССР» [4]. Я.В. Васильков пишет о позиции Ю.Н. Рериха следующее: «В 1945 г., в пору всеобщего интереса в западных странах к Советскому Союзу, он опубликовал на английском в международном журнале статью “Индология в России”. <…> В этом

прекрасном обзоре примечательно то, что Ю.Н. Рерих, получивший образование в западных университетах, демонстрирует, тем не менее, приверженность традициям русской школы востоковедения. У современного исследователя может вызвать недоумение тот факт, что в обзор российской индологии автор включает рассказ об открытиях археологами буддийских древностей в Средней Азии, об исследовании буддийских текстов на уйгурском, монгольском, тибетском и китайском языках; возникает даже подозрение, что Ю.Н. Рерих таким образом стремился искусственно "увеличить список успехов", "приукрасить действительность" (Серебряный, 2002: 22–23). На самом деле Ю.Н. Рерих всего лишь воспроизводил взгляд главенствующей в российской индологии (до периода сталинского террора) буддологической школы Ф.И. Щербатского, которая считала такого рода работы продолжением изучения индийского буддизма за пределами Индии. В описании Ю.Н. Рерихом трудов российских буддологов (Ф.И. Щербатского, О.О. Розенберга, Е.Е. Обермиллера) сквозит его гордость достижениями отечественной науки, но нет никакого "приукрашивания действительности": в контексте мировой буддологии в период между мировыми войнами петербургско-ленинградская школа бесспорно занимала ведущее положение» [4. С. 81–82].

В самом деле, достижения петербургско-ленинградской школы востоковедения были мирового уровня, и Рерих принципиально посвятил много внимания успехам ученых этой школы в своей статье, гордясь, что и он сам отчасти является учеником и последователем выдающихся российских востоковедов.

Хронологический рубеж статьи Рериха – это 1945 год. Серебряный продолжил начатый Рерихом обзор развития отечественной индологии. И хотя, как он пишет, это всего лишь «предварительный, пробный (с неизбежными лакунами) набросок общей картины» [3. С. 39], ему удалось дать достаточно полный обзор развития отечественной индологии, вплоть до начала XXI века. Большой список в ряду указанных Серебряным индологов занимают имена учеников, а также сотрудников Ю.Н. Рериха.

В своем анализе истории отечественного востоковедения Серебряный использует следующий прием. Дополняя ряд имен советских индологов, названных Рерихом, и достаточно подробно перечисляя их труды, он проводит сопоставление возрастных групп индологов с соответствующими возрастными группами деятелей культуры, в основном поэтов, выстраивая таким образом последовательность поколений. Опирается он на идею о том, что индология является неотъемлемой частью национальной культуры.

Начинает Серебряный с поколения С.Ф. Ольденбурга и Ф.И. Щербатского. Он вводит в эту цепь поколений и самого Ю.Н. Рериха, называя имена Е.Е. Обермиллера (1901–1935), М.И. Тубянского (1893–1937), Н.А. Невского (1892–1937), А.И. Вострикова (1902–1937), Б.В. Семичова (1900–1991) как принадлежащих к одному с Рерихом поколению. Серебряный пишет, что «ровесником именно этого "поколения репрессированных" был Ю.Н. Рерих (1902–1960)» [3. С. 38]. Рериха в этой череде ученых он отмечает особо, го-

воря о том, что само провидение сохранило его, он смог вернуться в Россию, «восстановил распавшуюся “связь времен” и в немалой степени повлиял на возрождение индологии» [3. С. 38].

Заключение

Возвращение на родину такого масштабного ученого, как Ю.Н. Рерих, в то время, когда советская индология только начала восстанавливаться после потерь 1930-х и военных 1940-х годов, было замечательной вехой в истории отечественного востоковедения. К сожалению, судьба отмерила Рериху менее трех лет после приезда в СССР. Но этот период для ученого был очень интенсивным и плодотворным.

Серебряный в конце статьи заключил, что в своем исследовании ему удалось показать «сколь важным было и остается значение Ю.Н. Рериха для развития нашей индологии» [3. С. 50]. Здесь уместно привести также слова и Я.В. Василькова. Высоко оценивая вклад Ю.Н. Рериха в отечественное востоковедение, он пишет: «Востоковеды России, прежде всего – исследователи культуры Индии и Центральной Азии, всегда будут хранить благодарную память о Юрии Николаевиче Рерихе (1902–1960). То, что он сделал для возрождения индологии, тибетологии, монголоведения и буддологии в нашей стране, невозможно переоценить» [4. С. 79].

Со своей стороны, отметим, что Серебряный не только достаточно скрупулезно проработал текст статьи Рериха, дав многочисленные комментарии, но и снабдил свою статью большим списком литературы по теме исследования (351 наименование). Он продолжил начатую Рерихом тему. Таким образом, статья Рериха, работа Серебряного плюс данный Серебряным список литературы можно рассматривать как единое целое по содержанию исследование, что является заметным вкладом в историю отечественного востоковедения и индологии в частности.

ЛИТЕРАТУРА

[1] *Roerich G.* Indology in Russia // Journal of the Greater India Society. № 2. Vol. XII. 1945. Pp. 69–98.

[2] *Рерих Ю.Н.* Индология в России // Рерих Ю. Тибет и Центральная Азия: статьи, лекции, переводы / ред. М.И. Воробьева-Десятовская. Самара: Агни, 1999. С. 173–199.

[3] *Серебряный С.Д.* Ю.Н. Рерих и история отечественной индологии // Петербургский Рериховский сборник. Вып. V. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2002. С. 20–77.

[4] *Васильков Я.В.* Ю.Н. Рерих и возрождение традиций классического востоковедения в СССР // Юрий Рерих: Живое наследие. Материалы к биографии. Вып. I: Сборник статей и интервью. 2-е изд., испр. // сост. В.А. Росов. М.: ГМВ; Фонд «Дельфис», 2017. С. 79–109.

[5] *Рерих Ю.Н.* Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями / под общ. ред. Ю. Парфионовича, В. Дылыковой. Вып. 1–11. М.: Наука, 1983–1993.

[6] *Böhtlingk O., Roth R.* Sanskrit-Wörterbuch. 1–7 Theil. St. Petersburg, 1855–1875.
[7] *Рерих Ю.Н.* По тропам Срединной Азии. Пять лет полевых исследований с Центрально-Азиатской экспедицией Рериха. М.: МЦР, 2012. 780 с.
[8] Дхаммапада. Перевод с пали, введение и комментарии В.Н. Топорова; ответственный редактор Ю.Н. Рерих. М.: Изд-во восточной литературы, 1960. (Bibliotheca Buddhica, XXXI). 160 с.
[9] *Bongard-Levin G., Vigasin A.* The Image of India. The Study of Ancient Indian Civilization in the USSR. Moscow: Progress Publishers,1984. 270 p.
[10] История отечественного востоковедения до середины XIX века // [П.М. Шаститко, А.А. Вигасин, А.М. Куликова и др.; редкол.: А.П. Базиянц и др.]; АН СССР, Ин-т востоковедения. М.: Наука, 1990. 439 с.
[11] История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года // А.А. Вигасин, П.М. Шаститко, А.П. Базиянц и др.; редкол.: А.А. Вигасин и др.; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. М.: Изд. фирма «Вост. лит.», 1997. 534 с.

REFERENCES

[1] Roerich G. Indology in Russia // Journal of the Greater India Society. № 2. Vol. XII. 1945. Pp. 69–98.
[2] Roerich G. Indology in Russia // Roerich G. Tibet and Central Asia: articles, lectures, translations. Ed. by M.I. Vorob'yova-Desyatovskaya. Samara: Agni, 1999. Pp. 173–199. (In Russian).
[3] Serebryaniy S.D. G.N. Roerich and the history of Indology in Russia // Petersburg's Roerich's collection. Vol. V. SPb.: St. Petersburg University, 2002. Pp. 20–77. (In Russian).
[4] Vasil'kov Ya.V. G.N. Roerich and the revival of the classical oriental studies in USSR // G.N. Roerich: The living heritage. biographical materials. Issue I: collection of articles and interviews. M.: State Museum of Oriental Arts; Fond Delphis, 2017. Pp. 79–109. (In Russian).
[5] Roerich G.N. Tibetan-Russian-English vocabulary with sanscrit parallels. Ed. by Yu. Parfionovich, V. Dylykova. Vol. 1–11. Moscow: Nayka, 1983–1993. (In Russian).
[6] Böhtlingk O., Roth R. Sanskrit-Wörterbuch. 1–7 Theil. St. Petersburg, 1855–1875.
[7] Roerich G.N. Trails to Inmost Asia. Five years of exploration with the Roerich Central Asia Expedition. M.: MCR, 2012. 780 p. (In Russian).
[8] Dhammapada. Trans. from Pali, preface and comm. V.N. Toporov. Ed. Roerich G.N. M.: Publishing House of Oriental Literature, 1960. (Bibliotheca Buddhica, XXXI). 160 p. (In Russian).
[9] Bongard-Levin G., Vigasin A. The Image of India. The Study of Ancient Indian Civilization in the USSR. Moscow: Progress Publishers, 1984. 270 p.
[10] History of oriental studies in Russia till the middle of XIX c. (P.M. Shastitko, A.A. Vigasin, A.M. Kulikova and others). Moscow: Nauka, 1990. 439 p. (In Russian).
[11] History of Oriental studies in Russia since the middle of XIX c. to 1917. (A.A. Vigasin, P.M. Shastitko, A.P. Basiyanz and others). Moscow: Oriental literature, 1997. 534 p. (In Russian).

Research article

G.N. Roerich and his analysis of the history of Indology in Russia

Alla M. Shustova

Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences
12 Rozhdestvenka St., Moscow, 107031, Russia

The scientific heritage of Russian orientalist G.N. Roerich (1902-1960) is still not studied sufficiently. The goal of this article is to examine G.N. Roerich's work "Indology in Russia", which was published in English in an Indian journal (Journal of the Greater India Society) in 1945. In this article G.N. Roerich presented his vision of what is indological research meant to be.

Besides G.N. Roerich's work the article considers the works of modern indologists S.D. Serebryaniy and Ya.V. Vasil'kov, who gave their valuation of G.N. Roerich's article. The author estimates G.N. Roerich's contribution to the history of the oriental studies as important, and considers S.D. Serebryaniy's work as the continuation of G.N. Roerich's research, which covers the span till 1945.

Keywords: G.N. Roerich, the history of Indology, Indology in Russia, Buddhology, Sanskritology

Информация об авторах / Information about the authors

Алла Михайловна Шустова, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН. E-mail: parinama@yandex.ru

Alla M. Shustova, PhD (Philosophy), Senior Research Fellow, Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences, Moscow. E-mail: parinama@yandex.ru

Для цитирования / For citation

Шустова А.М. Ю.Н. Рерих и его анализ истории развития индологии в России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2019. Т. 11. № 2. С. 179–188. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8127-2019-11-2-179-188

Shustova A.M. G.N. Roerich and his analysis of the history of Indology in Russia // RUDN Journal of World History. 2019. Vol. 11. No. 2. Pp. 179–188. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8127-2019-11-2-179-188

Рукопись поступила в редакцию / Article received: 12.05.2019

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" Ф СП-1

Бланк заказа периодических изданий

АБОНЕМЕНТ на газету / журнал | 37025 (индекс издания)

Вестник РУДН.
Серия: Всеобщая история
(наименование издания)

Количество комплектов	

На 2019 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда _____ (почтовый индекс) _____ (адрес)

Кому _____ (фамилия, инициалы)

Линия отреза

ПВ	место	литер

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА | 37025 (индекс издания)

на газету / журнал Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история
(наименование издания)

Стоимость	подписки	руб.	Количество комплектов	
	каталожная	руб.		
	пере-адресовки	руб.		

На 2019 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

			город
			село
почтовый индекс			область
			район
код улицы			улица
дом	корпус	квартира	фамилия, инициалы

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" Ф СП-1

Бланк заказа периодических изданий

АБОНЕМЕНТ на газету / журнал [ ]

(индекс издания)

Вестник РУДН.
Серия:

(наименование издания)

Количество комплектов [ ]

На 2019 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда [ ]

(почтовый индекс) (адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

Линия отреза

ПВ	место	литер

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА [ ]

(индекс издания)

на газету / журнал Вестник РУДН.
Серия:

(наименование издания)

Стои-мость	подписки	руб.	Количество комплектов	
	каталожная	руб.		
	пере-адресовки	руб.		

На 2019 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

			город
			село
почтовый индекс			область
			район
код улицы			улица
дом	корпус	квартира	фамилия, инициалы